

АНАТОЛИЙ
18+ ЮЛОВКОВ

JAM
JAZZ
SESSION

ХРОНИКИ
ЗАЕЗЖЕГО
МУЗЫКАНТА



Анатолий Головков

Jam session. Хроники заезжего музыканта

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41830583

ISBN 9785449644411

Аннотация

Оставшись без дома, еды и денег, Никита Егоров решает добраться до Москвы пешком, по шпалам. Но по дороге трубач засыпает на рельсах. И как бы заново проживает свою жизнь. Пока его не спасает обходчик, ему кажется, что он может исправить ошибки прошлого. И встречает юную флейтистку Клариссу... «Jam session» – это книга не только о судьбе музыкантов, которые, в конце концов, заставили весь мир восхищаться русским джазом. Это история о том, что часто вывести человека из кризиса может только любовь. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	23
Глава 3	42
Глава 4	46
Глава 5	58
Глава 6	76
Глава 7	95
Глава 8	107
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Jam session

Хроники заезжего

музыканта

Анатолий Головков

Корректор Елена Воронова

Дизайнер обложки Андрей Бондаренко

© Анатолий Головков, 2019

© Андрей Бондаренко, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4496-4441-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

В Москву

Только что были метель и железная дорога. Егоров шел по шпалам, и мело так, что, казалось, рельсы уводят в небо. Утомившись, он лег прямо на путях, подложил под голову футляр с трубой, но тут задрожала земля, зазвенели рельсы – приближался поезд.

Егоров не боялся поездов, и паровозы казались ему дружелюбными. В детстве он рисовал их: черные с красными решетками, и «кукушки», и перламутрово-зеленые, с заснеженным тендером и сосульками на кабине. Осенью паровозы откуда-то привозили зиму, а ранней весной – лето.

Но приснилось ему черт знает что. Будто *некто*, то есть он, а может совсем не он, спит на рельсах, а за поворотом уже мелькают фары локомотива. Машинист сигналил, но лежащий не шевелился.

Пока Егоров тормозил *некоего*, пока тянул то за одну, то за другую ногу, пока норовил вытащить из-под головы его чемоданчик – огни приблизились, гудки стали громче. И поздно, поздно!.. Жахнуло соляркой, махина толкнула незнакомца и стала перекатывать его по шпалам, как куклу. Футляр переехало колесом. Егоров увидел порванное серебро трубы среди обломков, и понял, что жертва – это он сам.

А факт наблюдения за наездом мог означать лишь одно: душа его еще раньше вырвалась наружу из усталого тела и наблюдала за происходящим.

Скажите, не бывает такого? Говорят, еще как бывает! Особенно когда выбираешься из запоя. Тут уж, люди добрые, чего только не натерпишься!

Так что не стоит удивляться, что проснулся Егоров совсем в другом месте, вскочил очумело. На подушке расплылось пятно от пота, но также, возможно, и от слез: последние месяцы ему снилось что-то тревожное и неосуществимое. Иногда звуки в виде морских светлячков. Он вскакивал, чтобы заарканить их и пришпилить к нотной бумаге, но не успевал.

А нынче он мучительно пытался понять, каким образом оказался на прожженном матрасе при серых простынях. Будто впервые он разглядывал этот плафон, засиженный мухами. Эту радиоточку, что бормотала невнятно и прерывисто, как если б диктору выбили зубы. Он с подозрением поглядывал на шкаф, дверцы которого никогда не закрывались. На облезлый линолеум. В окно с видом на помойку.

Его ничего больше не интересовало. Даже погода. Даже название местности, где он отстал от концертной бригады. Колодезь Безмолвный, что ли? Нет, все-таки Бездонный...

А ведь поначалу командировка, именуемая в его кругу

халтурой, казалась осмысленной и сулила заработок.

Он приехал на час с актерами театра; давали по два концерта в день, а по мере приближения Новогодья – по три.

Еще елки.

Егорову пообещали надбавку, если переоденется Дедом Морозом, поскольку артист заболел.

Что же, Никита Николаевич примерял пыльную шубу, шапку, приклеивал усы и бороду, потел, репетировал перед зеркалом пугающий текст: «Ну-ка, дети, угадайте, что у меня в мешке?»

В это время Дед Мороз основного состава, пожилой актер Кошкин ничего не боялся. Он лежал с градусником под мышкой, с горчичниками на спине, с грелкой в ногах и развлекал себя воспоминаниями о елках иных времен. Иван Сергеевич любил рассказывать о них сыну, Игорю Ивановичу.

О-го-го, какие были представления! Звезда-то на ели – о-го-го какая!

Мешок он носил здоровенный, и сам был как медведь. Бывало, схватит незнакомого мальчика и давай его подбрасывать, приговаривая: я тебе Кремль покажу, я тебе вождя покажу. Но сын презирал профессию Деда Мороза. Он говорил отцу, вот смотрю я, батя, как вы суп едите, и стыдно мне за вас. Вы, батя, плохонький пародист, вот вы кто. И меня учить совсем не смейте.

«Как ты можешь, сынок? – обижался Иван Сергеевич, роняя ложку. – Я даже товарища Калинина учил речи говорить. – И сжимал дрожащий кулак. – Он у меня вот где был!»

В гостинице районного значения Егоров помогал пополнить бюджет городка за счет суточных. До магазина дойти не мог, посылал горничную за пять процентов от сданной стеклотары. Пока трубач пребывал в прострации, она прибирала номер, стараясь не звенеть посудой, и только однажды молвила, выжимая тряпку и стараясь не смотреть на опухшее лицо Егорова:

– Вот...

– Ну? – вяло заинтересовался он, приподнявшись на локте.

Горничная задрала юбку, и Егоров увидел глубокий шрам выше колена, похожий на розовую каракатицу.

– Мой пырнул. Вот ведь мудака хренов.

На этом общение исчерпало себя.

У Егорова двоилось в глазах. Номер казался ему аквариумом, а труба – серебряной рыбкой. Он ловил ее дрожащими пальцами и, поймав, играл блюзы под сурдину. Он пробовал и без сурдины, но пришли перегонщики иномарок и сказали, что, если еще раз пикнет, они засунут трубу ему в задницу.

Егоров не внял угрозам. Он сидел на постели в майке и трусах, раскачиваясь, и шевелил клапанами. Он прислу-

шивался к тембру, опасаясь, не стал ли хуже звук, не заиграл ли губы.

Сколько таких дней прошло?

Выяснив, наконец, по обрывку газеты в туалете, что наступает понедельник, Егоров усовестился, решил завязать и поехать в Москву.

Он умылся, прополоскал рот ржавой водой, отдал горничной последнюю дюжину бутылок и побрел сдавать ключи. Музыканта все равно выгнали бы в расчетный час, то есть в полдень наступающего дня: у него закончились деньги.

Между прочим, гостиницы (если рассматривать их с точки зрения времени и пространства) функционируют в другом измерении. Когда, скажем, в нашем мире люди собираются обедать, то в параллельном – для хозяев облупленных холлов и заплеванных коридоров наступает виртуальный вечер и момент взаимных расчетов.

Это досадное несоответствие всегда раздражало Егорова.

Он даже придумал заклинание: «В Москву! Конечно же, в Москву! И кончено!», повторял его, как мантру, словно хотел кого-то убедить в пользе предстоящего путешествия. Но его никто не слышал.

А жаль: в данный момент своей жизни он, собравшись силами, пожалуй, сумел бы любому растолковать, зачем ему

в столицу. Вот только пусть спросят – он сразу же объяснит. Пусть только спросят! Никто не спрашивал. А он, между прочим, родился в Москве, был этим горд и при случае настаивал, что помнил себя с первого дня.

Грея младенца Егорова над керогазом, родители проклинали свою жизнь. Они намекали, что Никита Николаевич явился в их мир совсем некстати, в чем были отчасти правы: ведь сначала он рассматривался ими как кандидат на аборт.

В этом печальном случае зародыш Егорова, похожий на маленькую валторну, извлекли бы и бросили в таз к таким же обреченным. Потом бы его запаковали в мешок и отнесли на роддомовскую помойку с целью производства удобрения. Кому интересно, что среди человеческих зародышей попадают хорошие музыканты?

Размышляя над этим, Егоров ловил себя на том, что ненавидит рассадку с черноземом.

Когда ему случалось гостить на фанерных дачах своих друзей, он сметал горшки с подоконников решительной рукой, крича при этом: неужели не ясно?! На хрен это кладбище!.. Там я!.. Там вы!.. Там мы все!

С экзистенциальной точки зрения Егорова можно понять. Ведь сложишься по-другому, в каждом из этих горшков могла бы содержаться частица его тела, хотя главной он считал душу.

Важно даже не то, рассуждал Егоров, за сколько лет он превратился бы в удобрение для рассады, а философская сторона проблемы.

Что происходит с теми, на ком рождение и смерть фокусируются одновременно? Ведь получается, что между этими актами почти не существует интервала? Если бы плод, задуманный Господом, как Егоров Никита Николаевич, попал не на помойку, а в обычную могилу, то на надгробии могли бы написать: Егоров Н. Н. Не жил никогда, так как для этого у него не оказалось времени. Очень интересно!

Но гораздо полезнее знать, что еще на утробном уровне Егорову подали весть. Она состояла вот в чем: его помилование связано с развитием другого плода, который появился на свет на пять лет раньше и уверенно развился в некоего Кошкина Игоря Ивановича.

Возможно, так совпало, но родители также рассматривали мальчика Кошкина кандидатом на удобрение. На этот факт мог бы обратить внимание Егоров, отсидывая срок внутри матери, поскольку был уверен, что всё оттуда видел и слышал.

Но в ту пору он был еще наивен, глуповат и плохо разбирался в законах природы.

Кстати, он и в школе пропускал их мимо ушей.

Особенно его нервировали законы Ньютона.

Причиной изменения скорости тела, читал Егоров, листая испачканный чернилами учебник и непрестанно зевая, является его взаимодействие с другими телами.

Бог ты мой! Да и наплевать! Вместо абстрактного его интересовало вполне конкретное тело соседки по парте, юной К., дочери пожарного, в которую он был тайно влюблен.

Да уж, он сильно любил ее. Он носил за ней книги, заставлял петь на два голоса, отдавал сыр с бутерброда, держал за нехилую косу и даже подкладывал на парту кнопки – всё напрасно. Дочь пожарного, когда захотела детей, вышла за мясника и уехала в Бологое, где ее жизнь растворилась среди сосен.

Другое дело – правило буравчика. Совсем неглупые люди его придумали. Согласно данному правилу, Егоров не окончил школу, а прошел ее насквозь, как черную дыру. Его отвлекал мир звуков: скрип двери, дальние гудки, шарканье подошв по асфальту, пенье птиц, лай, мяуканье, скрежет трамвайных колес, гуденье водопроводных труб.

Так что, получается, исключительно благодаря Кошкину Егорова не вычеркнули из списка на счастье, и он благополучно приземлился на планете Земля.

Сначала детей вели порознь. Затем пришел срок, зазвенели фанфары, ударили барабаны, открылся занавес. Как толь-

ко Егоров поступил в музыкальное училище имени Скрябина, Кошкин сразу очутился в том же городе. Согласно приказу, подписанному в небе и на земле.

В этом также вряд ли содержится что-либо необычное. Не зря считают, что у каждого есть небесные ангелы-хранители, хотя человек может и не видеть их.

Своих ангелов Егоров впервые увидел, когда выбрался из материнской утробы, очутившись в холоде и неуют. Они летали по хирургическому отделению и распевали песни. Обычные люди слышат такие звуки перед смертью, а музыканты – при рождении. Ангелы пели ему еще целый месяц, прилетая через форточку из Нескучного сада. От восторга младенец делал под себя.

В таких случаях мама Егорова прогоняла ангелов веником и будила папу Егорова.

Просыпайся, Николай, говорила мама, грей воду, твой снова обосрался.

Они его называли «наш говнюк». И будто бы Егорову, который висел на руках отца над океаном мыльной воды, запомнилось унижение. Особенно когда его шлепали по розовой попке, как педика, приговаривая: ух, какой!

Ему хотелось самому, без помощи отца, встать на дно логгера, разогнуть спину, распрямить рахитичные ножки и заявить миру что-нибудь жизнеутверждающее. Например: аз

есмь человеце!

Но другое дело – покровители земные, так сказать, опекуны, особенно если речь идет о стране, которая занимает шестую часть суши общего пользования (ничего себе!).

Здесь у каждого должен быть свой опекун, которому и платят зарплату, чтобы он следил за равновесием противоположностей.

Иначе что же начнется? Ничего толкового, лишь путаница и неразбериха.

Союз опекунов – что-то вроде масонской ложи или ордена тамплиеров.

Опекуны считают, что мир делится на две половины. Одну составляют они, рыцари правого суда, а другую – подопреваемые. То есть все остальные. И если уж ты хоть раз нашкодил и попал в поле зрения опекунов, можешь быть уверен, о тебе не забудут.

Кстати, когда Егоров *нашкодил*, он тотчас был замечен Кошкиным.

Плюнуть бы музыканту на опекуна да забыть о нем, как о неприятном факте биографии.

Однако ж не выйдет забыть. Куда Егоров со своей трубой – туда и Кошкин с наручниками.

В этом, между прочим, видится ярчайшее проявление закона непрерывности материи и закона пар уравнивающих.

щих друг друга сил матери-природы.

Так что Егоров в затрепанном номере не стал ждать, пока грянет час расплаты за номер.

Он сдал ключи и выдвинулся на вокзал.

В кармане позванивали несколько монет: не то что билета на поезд, даже минералки не купишь. Он рассчитывал, что сыграет на трубе, и ему, как обычно, помогут.

Однако стоило войти в зал ожидания, приладить мундштук, как в воздухе нарисовался собрат по человеческому обществу – в полушубке с погонями и в галошах, натянутых на валенки.

Вы даже не спросили, что я хочу сыграть, сказал трубач. Может быть, после этого ваша жизнь изменилась бы к лучшему?.. Мне плевать на свою жизнь, сказал собрат, она мне и так нравится. А ты, типа, вали отсюда, пока я тебя в обезьянник не засадил!

Обезьянником в стране, где жил Егоров, называется место временного содержания людей, которые неправильно понимают слово «свобода».

Егоров даже не обиделся на собрата. Он хотел добраться до Москвы пусть даже и пешком; ему туда очень захотелось.

По пьяному делу он, конечно, забыл кошмар о тепловозе и рельсах.

Его манили хмурые дали.

Он представил, как двинется через города и веси, обгоняемый товарняками, выкрашенными охрой, цистернами с мазутом, пассажирскими поездами с сонными пятнышками окон. На полустанках он будет играть за кров и еду. Он также скопит немного денег, чтобы купить осла и въехать в столицу России, как Господь Вседержитель в Иерусалим.

Верующему Егорову совсем не хотелось сравнивать себя с Христом, но возвращение на родину он полагал событием значительным. И как же не возвестить об этом мир звуками трубы?

В Москве он намеревался найти отца, но денег не просить, а напротив, пригласить в пельменную на свои.

Им дадут пельменей, похожих на маленьких барашков, польют сметаной, придвинут специи и склянку с уксусом.

Егоров вытащит чекушку, нальет отцу в походную сотку, а себе в салфетницу, где не бывает салфеток.

Они чокнутся, и отец, допустим, скажет: черт подери, Никитос, где же ты шлялся, сукин сын? А теперь свалился, как снег на голову, да еще на осле. Что ты, собственно, хотел этим доказать? И я тоже хорош, старый дурак, мог бы написать письмо.

Да уж...

Если б у Егорова был почтовый ящик, он бы представил себе и процедуру получения письма.

На конверте могло быть изображение А. С. Попова, изобретателя радио, а на марке – кольцевание перелетных птиц.

Дорогой сынок, прочел бы в этом случае Егоров. Прошло немало времени с тех пор, как ты выбрал в жизни дорогу, полную трудностей и лишений. А из дому никто тебя не выгонял. Просто нам с мамой надоела твоя труба – вот ведь гнусный и подлый инструмент! Просто дрянь, а не инструмент! И как еще орет! Не то что, к примеру, гармонь, на которой играл твой прадедушка, мичман Степан Егоров. Прадедушка играл «Амурские волны» государю императору на крейсере «Новик». Твоя же труба резким звуком привлекает неуравновешенных людей, которым сразу хочется на войну.

На что Егоров имел право возразить: насчет письма, это вряд ли.

Отец бы выпил до дна, закусил пельменем-барашком в облаке сметаны и мог сказать примерно следующее: ну, и ничего, ну, и правильно, потому что мои проводы, надо признать, были мерзкие. Те, кто, думал, точно придут, не пришли, а те, кого не ждал, приперлись с гвоздиками, которые я и при жизни ненавидел. И плакали как по родному брату. Что ты на это скажешь?

Потом отец взялся бы за воспитание Никиты Николаевича: ты скотину кормил? Ступай, сынок, накорми осла. Оно-то ведь хоть животное и безмозглое, а всё ж тебя ко мне довезло.

Кто жил возле железной дороги, тот знает, что такое маневровые пути. Ночью эхо разносит голос диспетчера, такой надрывный, будто он произносит последние слова в жизни. На самом деле голос гундосит обычные вещи: куда какой вагон цеплять, какие стрелки переводить, с какой стороны прибывает поезд и будьте осторожны, чтоб не задело.

Но человеку со струнами души, натянутыми как на деке рояля, арена семафоров, изморось на силовых проводах и крышах вагонов, постукивание колес в тумане – от слов «подвижной состав» до свистка сцепщика – всё это кажется печальным.

Егорова бил озноб, и он бежал трусцой, чтобы согреться.

У одного рабочего Егоров спросил, где может находиться Москва, как он думает. Тот мрачно сплюнул и молвил что-то типа хрен его разберет. Напишут на табличке вагона «Москва – Чоп», а где этот Чоп, где Москва? Егоров топтался. Настаивал, уточняя, не заметил ли, к примеру, рабочий, с какой стороны локомотив прицеплен. На что тот оживился, словно ему открыли новый закон: ага, ага! Так, так!.. Его иногда вон где прицепляют – он махнул рукой вправо, – а другой раз там – махнул влево. Нет, все-таки не буду врать. У кого другого спроси.

Егоров тоскливо посмотрел на поземку, текущую через рельсы, потом спрыгнул с платформы и пошел по шпалам,

раскачивая футляром и придерживая свободной рукой шляпу, чтобы не сдуло ветром.

Ветер был попутный, и Егоров вообразил себя парусной спецдрезиной. Да, да! Совершенно новый вид спорта! Он мог бы назвать его, к примеру, рэлвэйсерфинг. Парусом служило пальто Егорова, которое помогла ему сшить одна знакомая костюмерша.

На третье и последнее утро их совместной жизни костюмерша выбросила дырявую куртку Егорова и достала из шкафа отрез.

Драп был слегка трачен молью, поскольку валялся с тех пор, как его привез дедушка костюмерши из побежденной им Германии.

Пальто получилось что надо: длинное, двубортное, с нагрудным карманом для платка, какие устраивают на пиджаках. В него Егоров облачался, когда ему требовалось выглядеть солидно, например, в филармонии.

Между прочим, первое пальто Егоров пропил в юности, когда начинал завоевывать джазовый мир. А помог ему в этом некто Том Джексович Уолтер, сын британских эмигрантов. Они всю жизнь мечтали попасть в СССР, а когда попали, их сразу же услали под Читу. Том Джексович, оставшись сиротой, служил пианистом в баре и, в отличие от Его-

рова, имел паспорт с местной пропиской, а значит, и право толкать в комиссионках то, что ему захочется. Еще Том Джексович научил Егорова петь основные вещи Джона Леннона на классическом английском, что потом ему весьма пригодилось, но это уже детали.

В планах же обмена личного имущества на казначейские билеты пальто теперь прочно удерживало второе место. На первом – была шляпа Егорова, без которой он мог обойтись, купив ушанку. Третье место отводилось невероятным по красоте полуботинкам «Баркер», ручной сборки, шоколадно-коричневым, с узорами на тупых носках, – как говорят джазмены, «с разговорчиком». Это ведь очень важно, каким ботинком ты отбиваешь такт на сцене.

Сей печальный список Егоров заводил в блокноте, когда в очередной раз упал на дно жизни. Под цифрой «4» он писал: «Труба „Shilka“», американская, широкая мензура, помповая, томпак с добавлением бериллия, отделка золотом.

Четвертый пункт пугал его настолько, что Егоров спрашивал себя: что же он делает? Стоит, как машина. Поэтому сбоку начертал: не продавать никогда, и для окончательной верности решения расписался: Егоров.

Впрочем, и пальто, и в особенности шляпу Егорову было тоже жаль.

Продать такие вещи означало полный край, порог, за которым Никите Николаевичу уже никто не откроет двери, и ничего не будет, кроме жалкой старости в пивной.

Так что, выходит, вовсе не брел Никита Николаевич, спотыкаясь о шпалы, вдоль темных и загадочных строений, похожих на гробы, а парил.

Мимо мерцающих огней райцентра, мимо стрелок и призрака старой водокачки.

Раньше он наблюдал такой пейзаж из вагона, прилипнув лбом к стеклу, а теперь – в качестве спецдрезины. Попутная метель подгоняла его в спину. Трепетало его знаменитое пальто, подобно пиратскому парусу. Это было так чудесно и легко, что Егоров даже рассмеялся. Он лишь отталкивался и плавно взмывал в воздух, а через десяток метров снова касался земли ногами. Как Армстронг на Луне. Бывает же такое?

Кажется, на восьмом километре он услышал нестройное пение и различил фигуры, которые двигались навстречу.

Егоров подумал, что это калики перехожие, но оказалось, перегонщики иномарок. Один из них нес на плече срубленную где-то елку. Чтобы приободрить себя, перегонщики пели песенку фронтового шофера: мы вели машины, огибая мины, и так далее.

На вопрос, как они оказались на шпалах, перегонщики

от волнения перешли на сленг, из которого трубач не усвоил ни единого слова. А когда принялись материться, Егоров сразу понял, что на них наехали бандиты, иномарки отобрали, а самих чуть не убили.

Узнав, что трубач держит путь в Москву, они дико расхотались и побрели дальше, в сторону Колодезя Бездонного.

У Егорова было нечего отнимать, кроме трубы. А кому она нужна? Поэтому он продолжил путь сквозь снежную пелену. Его лишь одно беспокоило. Вот если он окончательно минует предместья и окажется в полной темноте, даже без луны?

В таком случае, рассудил Егоров, будут блестеть рельсы, отполированные колесами. Еще он сможет ориентироваться по звездам, держа курс, указанный рабочим, строго на юг. И должна же, наконец, когда-нибудь закончиться эта бледная ночь?

Глава 2

Пирожки с ливером

– Ник, вставай, на первую пару опоздаем.

Это еще кто? Где же правда жизни, люди добрые? И где сам, Егоров? Все еще тащится по шпалам? Не похоже! Нетушки, он в общаге, и друг Водкин орет, будто его шилом ткнули.

Водкин Влад, фаготист, это ведь еще до армии было, в музыкальном училище!

Егоров высовывает из-под одеяла ногу в рваном носке, шевелит пальцем: тик-так. Холодно. Ничуть не лучше, чем в этом хреновом городке, как его... Колодезь Бездонный, всё перемешалось.

Черно-белое кино.

– И кисель варить твоя очередь.

Егоров бежит к умывальнику, чистит зубы пальцем, щетку снова украли. Ищет бритвенный станок, станка нет. Он перепутал: в музыкалке не росли еще у него ни усы, ни борода. На зеркале кто-то зубной пастой начертал: «Жизнь говно!»

На фоне этой истины лицо Егорова – еще не Никиты Николаевича, а просто Никитки – без синих кругов под глазами, брылей на скулах и горестной складки на лбу. И никако-

го намека на плешь – волосы торчком.

Влад уже воду греть поставил. С таким кипятильником – лезвие бритвы, зажатое между спичками, – через минуту будет готово.

– Снова земляничный, – ворчит Водкин, вынимая из тумбочки последний брикет. – Хоть бы абрикосовый или там яблочный для разнообразия!

Один давит брикет ложкой до крошева, сыпет в кружку, другой размешивает. Водкин разливает кисель по стаканам, остатки батона пополам. Из коридора тянет жареным, Никита втягивает ноздрями пряный воздух. Картошка на смальце, а сверху яичница. На свой вкус, говорит он Владу, он бы еще посыпал данную еду укропом и молотыми, знаешь ли, семенами кориандра.

– Везет деревенским, – говорит Водкин, дуя на кисель. – И почему люди не выбирают, где им родиться?

– А не хотел бы ты родиться негром на острове Бали? Грыз бы бамбук.

– Где этот Бали, ты хоть знаешь?

– Вроде в Африке.

– Сам ты Африка. Хватай гудок, побежали.

Восемь утра. Вместо первой пары лекций – хор, потом обязательное фоно, музлитература, ничего хорошего. Но попробуй прогулять, стипендии лишат, и тогда что?

Хористы собираются в аудитории, похожей на зал про-

щения в крематории; дежурные, проклиная судьбу, пришли еще раньше, разложили подставки.

Со стороны выглядит как лестница в небо.

Егоров часто развлекал себя фантазией: он поднимается по мосткам вверх, проникает через потолок и ржавую крышу в небо, пронзает облака, чтобы очутиться в ином мире, где небо под ногами, а в вышине – только блюзовая синева и солнце.

Осень за окнами, тяжелый сумрак, словно черти накурили; все зевают, лампы слепят глаза, не то, что петь – жить не хочется.

И вот уже шепоток: Амадей идет!

Влад проталкивается в ряд первых теноров, Никита лезет на верхотуру, к басам.

Распевка.

Чем выше они поднимаются по ступенькам хроматической гаммы, тем крепче и сочнее и точнее голоса. Дежурные раздают ноты; Водкин смотрит на Егорова, подмигивает: разыграем Амадея. Он, Влад, уже с тенорами договорился. Девчонки испугались, заупрямились. Егоров пошептался с басами. Амадей взмахнул рукой: песня о Ленине, хуже блевотины. И почему каждое утро с нее начинают, как с гимна?

Солист поет:

– Ле-е-нин...

– Ста-а-алин, – вторят заговорщики.

Солист краснеет, но продолжает:

– ...это весны-ы цветенье. Ле-енин...

– Ста-а-алин! – отзывается хор.

– ...это побе-еды клич!

Рифмуется с «наш дорогой Ильич».

– Вы что творите? – Амадей дает отмашку. – Меня же уволят. – Он при Сталине сидел. – Нашли, кого славить, шуты гороховые. Водкин, Егоров, ваши дела?

Хор хихикает. Амадей вздыхает. Ладно, давайте «Сосну». «На севере диком растет одиноко на голой вершине сосна...»

Блистательный перевод Heine, выполненный Лермонтовым: «Ein Fichtenbaum steht einsam/ Im Norden auf kahler Hoh'», что откроет для себя Егоров много лет спустя, выпив за Михаила Юрьевича, изменившего размер стихотворения, которое легко легло на музыку.

К десяти уже спет Шуберт, и Бах, и Свиридов. Глаза блещут, распелись, даже еще хочется, но занятие закончено, перемена.

– Егоров, – говорит Сухоруков, собирая ноты в папку, – зайдешь ко мне.

– Мне конец, – говорит Никита Водкину, – и это из-за тебя, чертов диссидент.

Тащится Никита на второй этаж с тяжелым сердцем, стучится в двери, где табличка «Завуч». Сухоруков не один, за столом Панкратова, педагог по вокалу.

– Ну, вот я это самое... пришел. – Никита опускает голову,

ожидаая разноса.

Сухоруков садится за рояль.

– Слушай, Егоров, правда ли, что ты берешь ля малой октавы?

– На трубе?

– Голосом.

– Ну, беру.

– Но это же на три тона ниже, чем я! И при этом, я же не пацан, Егоров. У меня ведь, Егоров, устоявшийся бас. Ни-же меня никто в училище не берет.

Панкратова хихикает.

– Не верьте вы ему, Амадей Степанович. Тоже мне, Шаляпин нашелся! Шалопай из шалопаев!

– А вот мы сейчас проверим, – говорит он и нажимает клавишу. – Поехали. Сначала я, потом ты.

– Ре-е-е, – гремит завуч.

– Ре-е-е, – вторит Никита, оглядываясь по сторонам.

– До-о-о, – несколько затрудненно, но всё же поет Сухоруков.

– До-о-о, – легко и уверенно продолжает студент.

– Си-и-и, – астматически выдавливая из себя Сухоруков, и это уже не нота, это хрип.

– С-и-и, – сочно и чисто басит Егоров.

– Ниже не смогу, – признается Амадей. – А ты?

– Ля-а-а, – долго и уверенно тянет Никита и так, что, кажется, в окне дрожат стекла.

Сухоруков откидывается на спинку стула. Он не скрывает огорчения.

– Это, Егоров, какая-то гегелевская метафизика и абсурдизм ума.

Панкратова молчит. Щеки завуча покрываются румянцем.

– Тебе, вообще-то, певцом быть надо. Зачем на духовое отделение пошел?

– Тут бы я с вами поспорила, Амадей Степанович, – возражает Панкратова, нюхая только что покрашенные ногти. – Да, да, да! Лучше хороший трубач, чем посредственный вокалист. У него голос красивый, низкий, но слабоват.

– Не знаю, не знаю, – говорит Сухоруков, – я, как хормодирижер... Ладно, катись отсюда, Егоров. Только никому не рассказывай. Это ж сраму будет! Студент берет ноты ниже самого низкого баса в области.

– А правда ли, – встречается Панкратова, – что вы с Водкиным в церкви поете? – Егоров мнется у дверей. – А еще комсомолцы, – упрекает Панкратова, глядясь в зеркальце и пудря нос, – прислужники мракобесов.

– Ладно, – говорит Сухоруков. – Это же не означает, что мальчики в Бога верят.

Егоров оборачивается, смотрит завучу в глаза.

– Я верую.

Стены серые, а должны быть белые, и купола надо золо-

том крыть, да где его взять, листовое, сусальное, и плати всем, от дворника до кочегара; прихожан раз, два и обчелся, старухи, такие дремучие, что не знают даже, кому молятся; триединство символа веры для них темный лес; никак им не вдолбить, что Отец, Сын и Святой Дух – это как бы одно лицо, а в то же время и не одно. Все только просят: дай, Господи, а если не дает, виноват отец Владимир.

Так ворчал батюшка, сбивая сумму гонорара для Водкина и Егорова.

Влад рекламировал себя, как мог, говорил, что он второй Собинов, тенор у него лирический, хоть куда. Егоров клялся, что может своим басом разбить тарелку.

И это, святой отец, ну, хоть это стоит по червонцу на нос?

Однако поп неумолим: по трёхе каждому. Всё. А если Никита хочет, чтобы его кормили, одевали, да еще стипендию приплачивали, можно пойти в духовную семинарию, и был бы дивный певчий, такие голоса не часто сыщешь. Однако Никита свободолюбив, он в рясе себя не видит. Да и, вообще, – ни в одной униформе мира.

Батюшка говорил, начнете после моих слов Богородице Дева, радуйся, и они читают с листа.

Водкин поет непрочным тенорком, Егоров внизу уверенно ведет аккорд, он незаменим в этом крохотном хоре из четырех женщин, ничейной девочки и двух учащихся из музыкалки.

Ничейную девочку зовут Кларисса, 11 лет, держит верх-

нее сопрано. Худа, бледна, во все лицо два яхонтовых глаза; когда она поет «аллилуйя» и смотрит на Егорова, у него бегут мурашки по коже – ангел небесный!

Восемнадцать лет шел Егоров к церкви пресвятого Николая Мученика. Его путь к храму лежал от утробы неверующей матери под пьяную ругань отца-атеиста, через уроки в детдоме, под барабанную дробь и дребедень да флаги державы, окрашенной в три цвета – красный, охровый и зеленый.

На девятнадцатом Никита разделся донага в нетопленном храме, шагнул в воду, пахнущую небом и серебром, погрузился в нее с головою, обошел вокруг алтаря, надел алюминиевый крестик, и в душе его поселились два чувства: восторг и бесстрашие.

С той минуты он уже никогда не один, даже если не с Владом.

Он навеки вдвоем.

В одном лишь отцу Владимиру так и не удалось убедить Никиту: музыкальный дар его – тоже от Бога, и следует унять гордыню.

Но у Егорова своя логика: раз Отче наш, значит Отец, родное существо, с которым единственно можно держать совет...

Специальность – в три часа, после обеда, – это у кого есть

на обед.

У Егорова и Водкина деньги кончились, и последние бутылки сданы. Для них понятие «денег нет» означает, что совсем ни шиша, даже копеечки завалящей. Потому что, найдись пару монет, можно поесть. В столовой хлеб бесплатный, иногда капуста квашеная, горчица, соль.

Манная каша – пять копеек, чай с сахаром – три. Взял тарелку каши и рубай с бесплатным хлебом, пока не треснешь. Запил горячим чайком. Чаёк, правда, мутноватый, и отрыжка от него.

Они идут по городу, шарят глазами по асфальту. Иной раз повезет, монету найдешь. Палками шевелят бурую листву, как грибки: никто не обронил, даже у телефона-автомата, где иногда двушки валяются.

Что касается киселя земляничного, философствует Водкин, то он состоит преимущественно из крахмала. Поэтому и минует желудок в рекордные сроки. Далее это вещество выполняет роль бессмысленной смазки кишок. А сахар, спорит Никита, а земляника? Землянику, считает Влад, заменяет некая загадочная субстанция из полимеров. А сахара его мозгам не хватит даже на то, чтобы закончить эту, в сущности правильную, мысль.

Животы поджало, и внутри бурчит. Запахи они чуют по-собачьи.

Вон из того подъезда, определяет Егоров, чесноком тянет,

мясным паром, именно от вареной говядины на кости. Когда уж закипит, пенка на воде появляется. Скорее всего, борщ затеяли. А из той форточки, считает Влад, колбасой жареной несет. Да не просто колбасой, а именно любительской, розовой, по два пятьдесят за кило, с пятнышками сала!

И они, конечно, гады, покروشат мундирной картошки, залиют майонезом и станут жрать прямо из сковороды под «Жигулевское»! А потом еще мякишами соус вымакают! Везет же гадам!

Егоров от рождения плечист, телом крепок, а у Влада фигурка тоненькая, почти девичья, плечи узкие. Кажется, дунет посильнее ветер – упадет.

Первый раз Влад упал не от ветра, а от голодного обморока на занятиях по гармонии; все перепугались, брызгали водой, совали ватку с нашатырем.

Пришла медичка: прекратите панику, перекурил мальчик. Я вам говорю, бросайте курить, а вы не слушаете. Но преподавательница спрашивала, когда же последний раз ел товарищ Водкин. Утром, соврал Влад. Потому что и этим утром, и прошлым они с Никитой только кипяток пили.

Ранний ноябрь, хрупкий холодок, будто ночью снова пальнет «Аврора». Ветер листву шевелит, мертвую листву, и она перекачивается волной. Влад, весь в себе, отбивает ногой какой-то ритм по асфальту.

– Слушай, – говорит Никита, – а почему бы тебе отцу не написать? Ты говорил, он какая-то шишка в министерстве?

– Отстань.

– Давай я напишу. Так, мол, и так, сын ваш, Владислав Аркадьевич, одаренный музыкант, скоро загнется от голода. И, типа, неужели вам его не жаль...

– Им?! – кипятится Влад. – Да я им с самого рождения мешал!

– И ты тоже? – удивляется Никита, вспомнив Москву, ангелов и Нескучный сад.

– А то!.. Пусть я лучше сдохну вон в той подворотне!

Водкин шарит по карманам, но курево тоже кончилось.

Тонкие пальцы Влада дрожат. Белые тонкие пальцы, похожие на струйки расплавленного воска, когда прольется в блюдо.

На аллее агитация: фанерные листы на стойках. Каждый плакат – призыв. Доярки с коровами, пастухи с овцами, праведные сталевары у мартенов. На последнем – Хрущев с поднятой рукой: догоним и перегоним Америку! Влад смотрит на плакат с ненавистью, потом отхаркивается. Плевок повисает как раз на слове «догоним».

– Свинья он. Все они свиньи. Вива Куба, а мяса нет!

– Тише ты, – говорит Егоров, оглядываясь, – заметут за такие слова.

- Да пошли они все! – Влада уже не остановить. – Знаешь, Ник, что я думаю? Надо сваливать отсюда.
- Куда, например?
- В Америку.
- Чувак, ты охренел?
- Даже не сомневайся.

Да что он, Влад, сошел с ума? В Америке безработица, преступность, они вон своего же Кеннеди застрелили. К тому же разве Влад еврей? Даже не всех евреев выпускают, только верующих.

Уезжал в Израиль с родителями Канторович с четвертого курса, уговорил Никиту и Влада прикинуться свидетелями-евреями, попросил трижды с ним обойти синагогу. Еще они таскали для раввина мешки с мукой перед Пасхой, – уж какие труды. После чего Канторовичу справку о еврействе дали.

Влад, конечно, никакой не еврей, забыть нужно про этот путь. Сухоруков обещал летом хор в Польшу свозить, по культурному обмену. Там Влад надеется оторваться – и прощай, СССР.

Но поляки его сдадут. Не понимает, что ли? Они его, Влада, сдадут хотя бы потому, что Варшавского восстания нам не простят. Там русских не любят. Влад упрям. Он думает добраться до Батуми, дальше вплавь. Денек брасса на длинном дыхании – и Турция. У них там посольство американ-

ское. Америка, считает Влад, – вот что им обоим нужно! И не рвануть ли вместе? В газетах про Штаты врут, там безграничные возможности. А главное, джаз можно играть, сколько хочешь. И никаких тебе партийных райкомов, никто не придирается. А какие музыканты, какая школа! Неужели не хочется поработать с Колтрейном? Фа-фара-фа-пара-рам!.. «Ночь в Тунисе».

Он станет посуду мыть, накопит на саксофон.

Ремни, бля, буду варить и жрать, как эти матросы, Зиганшин с Поплавским, но своего добыюсь, ты меня не знаешь... Знаю как облупленного... Ни хрена ты не знаешь. Потому что нет у тебя, Ник, дара предвидения. А у меня есть. Какой выбор? Распределят в оркестр областного театра. Буду сидеть с деревяшками, дудеть в свой фагот.

И так до пенсии.

Егорову не хочется думать о будущем. Он думает, что бы им продать, чтобы выжить.

Можно, конечно, продать фагот, как предлагает Влад, но он из-за него два лета мебель таскал. Для Водкина потеря фагота – катастрофа. А у Егорова труба тульская, педальная, почти из жести. Таковую в любом клубе под расписку дают. Щелкни по ней – звучит, как горшок. А должно быть: дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь! Никита столько времени потратил, чтобы раздуть ее под себя, а на низах не строит.

– Ник, твой учитель, по специальности, всё равно не слы-

шит.

– Ну, слышит, как обычный музыкант. И не надо, он мне звук ставил.

– Едва различает восьмую тона...

День в городе серовато-желтый, замороченно-желтый, грузовики зеленые почти сливаются с общим фоном, и красные пятна трамваев, как на картинах Аршакуни.

– Раньше мне казалось, что абсолютный слух – это дар небесный, – говорит Егоров, – на самом деле слышать весь спектр – мука смертная. Когда оркестр настраивается, у меня просто башню сносит.

– А у меня ухо краснеет.

– Да, ты уже говорил, хе-хе.

Мимо проносится скорая помощь, вихрь листьев кружится за фургоном, гудит сирена, у Влада мелькают озорные огоньки в глазах, и он, великий спорщик, снова заводится.

– Какая нота?

– Соль-диез второй октавы. Плюс одна шестнадцатая тона.

Водкин прикладывает ладонь к уху.

– Фигня! Ниже соль-диеза на одну тридцать вторую.

До «школы» им только аллею пройти, дальше кино «Победа».

Там второй месяц дают «Великолепную семерку», город не по одному разу смотрел.

За «Победой» – двухэтажное здание училища, выкрашенное в серый цвет, как гестапо.

У кинотеатра – тележка с пирожками по пять копеек. Влад уже заранее нервничает, предлагает обойти с тыла, чтоб не терзаться понапрасну. Пирожки сегодня с ливером, это они еще издали унюхали. Но чуть раньше, возможно, были с капустой и яйцом. У ливера запах пряный, его ни с чем не перепутаешь.

С фронта или с тыла? Тетя Зина дважды давала Никите в долг по пирожку, но Владу еще кредит не открывали. Егоров говорит, иди, Владик, только не проси ничего. Стой рядом и молчи. Как кот. Котам чаще дают, когда они помалкивают, а не орут в горло.

Егоров из-за афишной тумбы наблюдает, как Водкин, засунув руки в карманы плащика, маячит возле тележки. Плащик висит на нем, как на чучеле, светлый кок развивается на ветру.

– Тебе сколько, Водкин? – спрашивает Зина. – Горяченьки-я!.. Вкусны-я!.. Мясокомбинат очень старался! Ливер то, что надо!..

– Я знаю, – хмуро отвечает Влад. – Я всё про них знаю. Когда такой пирожок разлочишь, тетя Зин, от ливера парок идет. Правильно, тетя Зин? Еще внутри встречаются такие беленькие штучки. Я раньше думал, кусочки морских гадов, вроде кальмаров, а оказывается, это измельченные обрезки кишок. Или коровьего желудка, называемого по науке сычуг.

Однако же печенки молотой, не считая сердца коровы, там гораздо больше. Печенка – главный компонент. Она, так сказать, доминанта, преобладает над всеми составляющими.

Тетя Зина, засунув красные руки в рукава телогрейки, стучит валенком о валенок.

– Да ты, я смотрю, специалист. Ну, так и взял бы парочку? У меня несколько штук осталось. – Она приподнимает крышку. Облако вкусного пара окутывает Влада. Он чувствует, что вот-вот рухнет прямо на бачки, как герой на амбразуру. – Хуже нет напоследок, пока продашь, намерзнешься.

– Спасибо, мэм, я только что отобедал, – врет Водкин из последних сил.

– А я бы по три копейки отдала за все. Тебе, кстати, полезно. Посмотри на себя, в чем только душа держится.

– У меня сейчас нет души, – замысловато отвечает Влад. – И тела нет. Я весь состою из одного сплошного желудка.

– У тебя, как я погляжу, не души, а денег нет, – говорит тетя Зина. – Нет ведь денег, признавайся?

– Ну, нет, – отвечает Водкин, – это не новости.

– А для меня новость, что ты Егорова за тумбой прячешь. Эй, Егоров, выходи!

Никита понимает, что скрываться бесполезно. И вот они стоят перед тележкой, за которой тетя Зина имеет власть судьи. Нет, не судьи – императрицы.

Бескрайни просторы империи, которой владеет Ее Вели-

чество Тетя Зина, сочны травы на лугах, где пасется всяческая рогатая скотина.

Когда нагуляет жирок, ее отправляют на имперскую скотобойню.

В одни ворота загоняют коров, бычков и овец, а из других – выезжают грузовики. Трейлеры колбасу везут, понятное дело, в Москву, а пирожки с ливером – в музыкальное училище имени Александра Скрябина.

Она протягивает теплый сверток. Жир сразу проступает сквозь бумагу, и одно пятно похоже на Америку, куда хочет удрать Влад.

– Теть Зин, но я же и так...

– Водкин, забудь. Бери, пока я добрая. Смотри не урони. Водкин тянется за пирожками, пальцы дрожат.

– А хотите, мы вам дуэтом сыграем, фагот и труба? Мы вам, что хотите, сыграем, можем даже из народного.

– На моих похоронах, – отвечает пирожочница беззлобно, накрывая тележку клеенкой. – Бывайте, ребятишки, я пошла.

Оцепеневшие друзья смотрят вслед голубой тележке.

Под козырьком, у киношных касс, они бережно разворачивают бумагу.

– Целых семь штук, – шепчет Никита, пересчитав румяные бока. – Великолепная семерка! Семь первоклассных джазовых пирожков!

Вдруг Водкин отворачивается, у него трясутся плечи.

– Ну, приехали, – ворчит Егоров. – Ты чего, блядь, раскис? Ты, вообще, мужик или нет?

– Я, Ник, м-мужик, но до смерти эти п-пирожки не забуду, – бормочет Водкин, всхлипывая. – Даже в Америке не забуду! Какая женщина! Если разбогатею, подарю тете Зине «Волгу». Клянусь, Ник! И никаких больше тележек! Знаешь, такую пузатую, ГАЗ-21!

– С оленем на капоте!

– Да, да, да, едрическая сила, будь я проклят! Или построю для нее дом! На берегу озера!

– Правильно, Владик, мы вместе построим! – У Никиты тоже губы дрожат. – Ломай пополам гада гадского, успеем съесть до звонка.

– Черт! – говорит Водкин, давясь куском из-за судороги, перехватившей горло. – Я уже всё знаю... Слушай! На первом этаже мы устроим для нее большую кухню, поставим автомат для жарки пончиков!

– И везде фикусы!

– Еще герань на окнах!

– В спальню – кровать с балдахином!

– Окна с видом в сад!

– Лучше на горы!

– Ты имеешь в виду, что мы поселим тетю Зину на Памире? Давай еще по половинке!

– Или по целому?

– Вот видишь, какой ты? Видишь?.. Как с тобой договариваться?! Перебьешься!..

– Ну, ты и жадина, Ник!..

– Не ври! Я не жадный, а бережливый!

– Ладно... На балконе мы развесим клетки с перепелками.

Я в одном итальянском фильме видел.

– А в столовой поставим рояль.

– Рояль-то тете Зине зачем?

– Будем приходить и играть.

– Да, именно джаз. Купим белый «Стейнвей».

– Тетя Зина будет сидеть в кресле-качалке, слушать блюзы и вязать себе кофточку.

Глава 3

Пассаж во втором allegro

Тучный Райнис сидит на высоком табурете посреди клас-са; Егоров стоит у пульта перед нотами с трубой; девушка-концертмейстер – за роялем.

– Начина-айте, ю-юноша, – говорит Райнис. Он латыш, го-ворит с акцентом, некоторые звуки у него как резиновые.

Никита облизывает мундштук, слушает увертюру, через несколько тактов ему вступать.

Он прикладывается к трубе.

Первую часть, Grave, он обожает: тревожная и сильная, вся на сигналах, можно показать звук. И пауз достаточно, чтобы дыхание не сбилось. Он начинает уверенно; звук ака-демический, круглый, как полированный медяк.

Райнис закрывает глаза и кивает: ему тоже это место нра-вится.

– Стоп! – вдруг говорит он.

Пальцы пианистки замирают над клавишами. Егоров в недоумении.

– По технике ничего, – говорит Райнис, – но где, юноша, ваша душа? Разве Хеорг Пффридрихь Хэндель позволил бы себе такое Grave? – Фамилию композитора он произносит с уважением и по-немецки, Хэндель. – Прошу, четвертая

цифра, из-за такта!

Снова вступление, Никита берет первые ноты.

– Нет! Нет! – останавливает его Райнис.

Он произносит целую речь.

Он рассуждает о роли трехчастного сонатно-симфонического цикла в мировой музыке.

Он рассказывает, как смеялись над Генделем, когда он стал писать концерты для трубы с оркестром, называя трубу «медной виолой».

Он говорит, что Grave, главная партия концерта, есть великая музыка о бессмертии души.

Он вынимает свою трубу, протирает платком, вставляет мундштук. Труба чешская, «Фестиваль», к тому же помповая, а не педальная, безмерная мечта Егорова.

Райнис кивает концертмейстеру: прошу вас, Анечка! Он держит инструмент параллельно полу, торжественно и гордо. Проигрывает всю часть, хотя щеки багровеют от напряжения. По лбу катит пот.

– Вы прямо, как профессор Докшицер, – восхищается Никита.

Райнис пропускает Докшицера мимо ушей.

– Этот концерт, возлюбленный сын мой, у нас редко играют даже для диплома. А вы на третьем курсе. Сами напросились. Я предупреждал. Это консерваторская программа.

Егоров слушает с поникшей головой.

– Маэстро, может быть, возьмем что-то полегче?

Райнис слезает с табурета.

– У вас, юноша, как у Суворова, нет пути назад. Кто разболтал всему училищу, что мы готовим соль-минорный концерт для трубы фон Хеорг Пффридрихь Хэндель? И если вам не дорога ваша честь, то мне дорога моя. Играйте, мой друг!

Grave – это семечки, думает Никита. Во втором Allegro есть такие пассажи на двойном стаккато! Черт меня дернул связаться!

Он косится на пальцы пианистки, слушает ее партию, и от страха перед приближением рокового пассажа мурашки бегают по коже.

Вот осталось еще четыре такта, три, два...

Егоров прижимает мундштук к губам.

Это Эверест, отрицательный склон.

Он набирает воздуха.

Пианистка поворачивается вполоборота, ей тоже интересно.

Райнис будто бы и не реагирует, впился глазами в клавиш.

Никита смотрит в свои ноты. От гроздьев тридцать вторых и шестьдесят четвертых у него рябит в глазах. Ну, и наворотили вы, герр Гендель! Никита идет через непроходимую чащу со своей тульской трубой, как воин с зажженным факелом. Когда же она кончится? Пауза. И еще один пассаж, похожий на пропасть с камнепадом. Егорову кажется, что нога его скользит по краю. Он срывается в кикс, беспомощно шевелит клапанами.

Пианистка, сыграв еще несколько тактов по инерции, тоже прерывается. Райнис сопит на своем табурете.

Егоров разводит руками.

– Я же говорил. Только время у вас отнимаю, Зигмунд Карлович.

– Сынок, – говорит Райнис, – но ты же прошел почти всю часть. Обернись, посмотри, какое поле перепахали! Сколько уже сделано!

– Я облажался, учитель, – говорит Егоров. – И это факт моей идиотской жизни.

Пианистка поворачивается. На уроках не по своей специальности она не имеет права вмешиваться, но здесь не выдерживает.

– Неправда, вы не облажались, Егоров. Первые такты самые сложные.

– А дальше? А верхи? – уныло возражает тот. – Я же не флейтист, чтобы свистеть.

– Ну, да, – говорит Райнис, – там есть соль третьей октавы. Но ты же, сынок, брал фа?

– Брал, – соглашается Ник, – но не с такого интервала.

– Не надо лгать про интервалы. Там, юноша, имеет место весьма удобная восходящая секвенция. Как раз господин Хэндель написал, чтобы такие, как вы, не боялись. Занимайтесь по три часа. Только губы не за-играйте. Через месяц начнем репетировать с оркестром.

Это значит, за инструменты сядет всё училище.

Глава 4

Чудо у железной дороги

Егоров приподнял шляпу, вытер пот со лба и огляделся. А на что смотреть? Не на что больше смотреть. Даже зыбкий рассвет над землею не порадовал его.

Сколько он так протопал по шпалам? Где-то остались контуры дикого города, бетонный завод, элеватор, градири-ни, вагонное депо, заваленное колесными парами и всякой ржавчиной, паутина путей сортировочного узла, семафоры и стрелки, которые вели Егорова до тех пор, пока рельсы не вытянулись в параллельные прямые, которые вроде бы никогда не пересекаются.

Теперь по одну сторону полукругом стоял лес, за который уходило полотно, по другую лежало поле под снегом. Под мачтами высоковольтной линии торчали бурые от дождей стога. И ни одного дома, ни одного, даже дальнего, дымка.

Егоров пристроился у куста, развел костерок, чтобы согреться.

Когда занялись ветки, он отыскал пень, языки пламени обняли корягу и принялись лизать ее со всех сторон; от дерева пошел пар.

Он достал из футляра бутерброд с засохшим сыром, огрызок колбасы и половину соленого огурца. Ему бы начать

с огурца, чтоб освежиться, но он предпочел бутерброд, и едва успел отбежать, чтоб не вытошнило в костер. Когда судороги утихли, он поел снега с веток и еще каких-то кислых ягод, потом долго мочился под куст.

Кто-то дотронулся до его плеча, Егоров вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял бородатый мужик в валенках, полушубке и кургузой шапке, бывшей офицерской, с выцветшим пятном вместо кокарды, и от него как-то странно пахло. Мужик снял варежки и стал греть пальцы над костром.

«Вы не из местных?» – спросил Егоров.

«Я из пришлых, – отозвался мужик хриповато. – Ираклием меня зовут. Фамилия Севастийский».

«А я Егоров Никита... Вы меня напугали. Откуда вы взялись? Когда я отошел отлить, никого не было... И где ваши следы на снегу? Вон мои, а ваших нет».

«Таким, как я, лучше следов не оставлять», – загадочно ответил Ираклий.

«Вы случайно не из тюрьмы сбежали? – произнес Егоров. – Шапка явно с чужой головы».

«Ошибаешься, друг, – сказал Ираклий, надевая варежки. – Совсем наоборот. Это ты бежишь из тюрьмы, которую сам же для себя и построил. А я свободен».

«Значит, наверное, вы были старцем при каком-то монастыре, но вас выгнали за пьянство. – Егоров протянул гостю фляжку. – Глотнуть не желаете? У меня еще осталось чуточ-

ку».

«Снова ошибаешься. Не пью я. А ты, вижу, музыкант?.. Сыграй!».

«Дайте, сколько не жалко, сыграю»

Ираклий снял шапку, стряхнул с нее снег, вздохнул и посмотрел на Егорова, щурясь и хлопая белесыми ресницами.

«Денег нет... Но я бы хотел послушать „The Rat Race Blues“ Грайса».

«Любите джаз?»

Ничего не ответив, Ираклий уселся прямо на снегу.

Егоров достал «Шилку». Металл сразу запотел и стал матовым, как слива. Он погрел трубу над костром, пошевелил клапанами.

Ни рояля, ни ритма. Придется играть одному. Пальцы легли на кнопки, и в тишину русского поля вторглась африканская печаль.

Сначала Егоров обыгрывал тему.

То приближаясь к ней по-кошачьи, то отступая, он свинговал с оттяжкой и строго держался гармонии. Этим можно было и ограничиться, но тут трубача посетила простая и изящная идея. За первым квадратом последовал второй.

До сих пор ему нравилась латиноамериканская интонация, в которой он чувствовал себя легко и органично, и, будь рядом музыканты, они бы сразу поняли его, – сменили ритм, подчеркивая фразы. Вслед за этим он бы перешел на другой

размер, пять четвертей или семь, что всегда выглядит эффектно и производит впечатление.

«Неплохо, но это мы уже слышали», – оценил Ираклий, когда Егоров отвел трубу от губ.

«Кто это – вы? Что слышали?..»

«Не важно. Ты всё еще в тюрьме. Попробуй вырваться из плена матери-земли».

«Да пошли вы! Сами возьмите трубу и играйте! Каждый бомж будет еще меня учить!»

«Никогда не груби незнакомым людям, это тебе не к лицу! Ты можешь сыграть лучше Грайса!..»

«Я боюсь, что, взлетев, разобьюсь о твердь».

«А кто говорит, что ты должен летать? – настаивал Ираклий. – Разве в объеме, куда ты норовишь попасть, существуют какие-либо измерения? И не так ли устроена музыка, что она есть перетекание из одной сферы в другую, где каждая все заманчивее, и невозможно остановиться?»

Егоров прижал мундштук к губам и закрыл глаза.

Новая гармоническая схема вспыхнула перед его глазами, наподобие неоновой модели, и функции блюза выглядели каркасом. От них тянулись сияющие нити к иным, совсем незнакомым Егорову структурам. Он так удивился, что отверг все прежние планы. Сначала он подступился к нитям робко, поскольку они отрицали тональность и даже не имели отношения к параллельной, но, сыграв первые фразы, убедился, что звуки его совсем не противоречат гармонии, –

напротив, границы тонкого мира расширились. Кажется, он не придумывал уже ничего, а лишь плескался в сетях из этих сияющих нитей; и сладок был плен.

Он раскачивался, как на качелях, играя свободно и легко; инструмент был непривычно послушен, что бы ни диктовал ему Егоров. Появился ритм, который стучал в его голове, как метроном. Но не мешал, а лишь обозначал границы тактов. И хотя темп удвоился, ноты извлекались послушно. Это были даже не пассажи, а град звуков, неподвластный ему ранее.

Тогда он принялся испытывать диапазон инструмента и снова столкнулся с волшебством. Чтобы не запутаться, Егоров дублировал импровизацию голосом, то опускаясь на нижние октавы, то поднимаясь вверх. Конечно, он не пел, но лишь вибрировал голосовыми связками, – и труба следовала за ними. Причем Егоров особенно поразился верхам, с которыми всегда имел проблемы.

Он знал, что великие трубачи мира, забираясь на верхотуру, в чужой диапазон, часто переходят на фальцет, который изменяет тембр, но Егорову было этого мало. Он поднимался вверх до тех пор, пока звуки не превратились в птичий щебет, а потом и вовсе исчезли, поскольку дальше начинался ультразвук.

Кто его мог теперь услышать? Разве что киты и дельфины? А он всё гнал и гнал со скоростью истребителя, удивляясь, что не хватит времени жизни, чтобы исчерпать варианты и версии и добраться до конечной, как ему казалось, точки.

В этот момент Егоров решил вернуться к теме (некогда рожденной в голове Грайса после дозы героина). Но зазвучала новая мелодия.

Она появилась как результат импровизационных исканий в тех мирах, куда завел его пришелец, и составляла достойную конкуренцию оригиналу. Тема Егорова почему-то не умещалась в блюзовую форму. Как ни втискивал ее туда Егоров, как ни старался, она составила нечетное число тактов – именно тринадцать.

Прямо как у Баха.

Егоров открыл глаза и увидел странную картину. В радиусе шагов тридцати земля оттаяла и покрылась травой. На кустах распустились листья, ветки усыпало цветками. Между ними летали бабочки.

Егоров изловчился, поймал одну, и она забилась, щекоча ладонь.

Утро настало давно, светило солнце, хотя за границей площадки свет переходил в серый, почти бурый, там виднелись сугробы.

Чудеса, поразился Егоров. Так не бывает.

«Бывает, – возразил Ираклий. – Это типичный пример локальной трансформации матери-природы при направленном воплощении энергии».

Егоров из этих слов ничего не понял и приуныл.

Но унывать долго не пришлось. На отогретой музыкой

земле Егоровым были замечены всяческие звери, земноводные, а также птицы. Они, затаившись, наблюдали за трубачом.

Некоторых, как, например, енота и львенка, он заметил не сразу. Другие маскировались в траве, также глядя на Егорова.

Станным казалось даже не нашествие зверей, а то, что хищники и травоядные гуляли рядом. Целый зоопарк, только без вольеров и клеток. Дружелюбные коровы и печальные овцебыки пощипывали траву по соседству с тиграми. На спинах у волков сидели зайцы. Белоснежные козлята игрались с рысью и никуда не убегали. Фламинго чистил перья пожилому ястребу.

Затем они, как по команде, двинулись на Егорова. Тот отпрыгнул в сторону.

«Слушайте, Ираклий, вы не могли бы, своим гипнозом что ли, отогнать скотину?»

«Не могу, – сказал Ираклий, – это не в моей власти».

«А что им от меня надо?»

«Божьи твари пришли выразить тебе свое удивление. Ты не разрешил доминанту в тонику. Когда доминанта не разрешена, сам понимаешь, в воздухе и на земле, во всей природе повисает вопрос. Звери спрашивают: что ты имел в виду данной незавершенностью, без которой не существует гармонии. Возьми трубу и разреши доминанту».

Из-за кустов показались жираф и верблюд.

Камышовый кот, тяжелый, толстый, стал ластиться у ног. Жираф слегка подтолкнул Егорова, он упал на траву.

Камышовый кот прилез ему на грудь, урча, и Егоров подумал, что кот обязательно оставит ворсинки шерсти на пальто.

«Да что вы на меня лезете! – рассердился трубач. – Пошли вон!.. Брысь отсюда!».

Ираклий рассмеялся. Тигр лег за спиной трубача, и он откинулся на него, как на спинку кресла. Овцебык лизал его по щеке. Волк сбросил со спины зайца и смотрел в упор на Егорова. Уж не почувствовал ли родную кровь? Семейство гадюки облюбовало футляр и оттуда пялилось на Егорова, не мигая. Он даже стал опасаться, не заберется ли какой-нибудь гаденыш в трубу. Как его потом оттуда выковыривать? У ног музыканта прыгали жабы, извивались тритоны. Белый страус, задрав клюв, исполнил для него отрывок из арии, как студент на экзамене. Егоров поклонился страусу, сняв шляпу. Потом осторожно, стараясь не напугать гадюк, дотянулся до трубы и сыграл несколько завершающих фраз. Звери заурчали, зашипели, заклокотали в благодарном хоре.

Все это выглядело нереальным до подозрительности.

Еще бы! И о каком, вообще, нашествии зверей идет речь? Кто подтвердит свидание трубача Егорова с Ираклием Севастийским? Ни одна живая душа. Грустно. И неудобно за ав-

тора. Потому что некоторые авторы, если им что-то втемяшится в голову, готовы отстаивать свои истории вопреки здравому смыслу.

Но время ли отвлекаться, если местность вокруг огласилась гудком: из-за леса приближался поезд.

Выбравшись на поле, состав замедлил ход. Егоров разглядел таблички на вагонах: «Москва – Колодезь Бездонный». Надо же, куда теперь фирменные поезда посылают.

Он увидел также лица пассажиров, прильнувших к окнам. И в одном – узнал свою бывшую первую жену, певицу Цицилию Мирскую, с которой не виделся очень давно, а рядом – бледное лицо мальчика или даже юноши.

Что касается мальчика, то его лицо принадлежало сыну Цицилии. Она всегда убеждала Егорова, что это его сын, хотя он точно знал, что ребенок был прижит ею от одного директора оборонного завода.

Цицилия спешила на гастроли в Колодезьбездонненский район, где наверняка будет принята, обласкана и напоена.

О жизни с Цицилией, которую он когда-то вытащил из табора, после чего она убегала то к одному, то к другому гитаристу, вспоминать не хотелось: небось, и нынче с гитаристом едет. Но Цицилия ехала не с гитаристом, а с полковником Кубинской народной армии Диего Санчосом.

Пока вагон проплывал мимо Егорова, в купе состоялся

следующий разговор.

«Кто этот тип и почему ты на него уставилась?» – подозрительно спросил Санчос. Он ревновал Цицилию к каждому встречному, следуя этнической привычке. Однажды от него получил по морде даже советский ракетчик, который по ошибке пристал к местной комсомолке.

«Да, мама, мне тоже интересно», – добавил сын Цицилии, системный администратор провайдерской компании «The eternal connection» Гек Мирский.

«Тебе бы, Санчос, лучше, блядь, не задавать подобных вопросов, – отбрила Цицилия полковника. – А тебе, сынок, напротив, полезно знать, что за окном именно твой папа. Я раньше думала, что он помер от пьянства. А он, видишь ли, выжил и даже работает пастухом».

«И все-таки странно, сеньора Цицилия, – не унимался полковник. – У нас, на Острове свободы, знаете ли, не хватает коров. Поэтому их пасут подальше от хищников».

«А у нас в России, дядя Диего, их полно, поэтому еще и не такое бывает, – мечтательно произнес системадмин. – Я даже понимаю, почему за окнами зима, а вокруг папы все растаяло, зеленеет трава и цветут цветы. Это, скорее всего, оптический обман. Мы видим виртуальную поляну».

«Умничать-то!» – прикрикнула мать на сына, дала ему затрещину по гениальному затылку и задернула занавески.

Последний вагон поезда исчез за поворотом.

«Знаешь, как у нас говорят по этому поводу? – сказал Ираклий расстроенному Егорову, кормя зверей крошками хлеба. – Проезжающие мимо пусть проезжают».

«Кто говорит? Где это, у вас?»

«Не твоего ума дело».

«Ступайте-ка вы своей дорогой! Вам в свою сторону, а мне – в свою!»

«То есть добрался до вершины славы, а теперь я тебе не нужен?» – спросил Ираклий, нахлобучивая ушанку.

«По-вашему, нашествие данной скотобазы и есть вершина?»

«Конечно! – убежденно ответил Ираклий. – Люди способны притворяться, что им нравится твоя труба. Звери – никогда. Так что проникнись моментом. К тому же теперь тебя до конца жизни не поцарапает кот, не клюнет в темя ни одна птица, не укусит ни одна собака».

«Это почему же?» – спросил Егоров.

«Потому что звери уже передали друг другу весть о твоей музыке и взяли тебя под защиту».

«Да кто вы такой, в конце-то концов?!» – воскликнул Егоров, но обернувшись, уже не увидел Ираклия.

Костерок погас.

Картина растаяла.

Поникла и осыпалась листва на кусте, опали цветы, пожухла трава.

Ветер снова гнал от горизонта тучу, готовую осыпаться великим снегом.

Глава 5

Маргарита

В клуб железнодорожников Никита с Владом могут приходить благодаря Водкину, который знаком с руководителем эстрадного кружка, а тот – друг директора. На столе магнитофон «Яуза», блюдце, полное окурков, и остывший чай, к которому они прикладываются по очереди.

Из пяти вещей ансамбля «The Jazz Messengers» Дэвида Франклина, которые они записали с «Голоса Америки», лишь одна, «Down Under», звучит внятно, да и то сквозь треск эфира.

Тема простенькая. Они быстро разучили ее. А дальше нужно импровизировать. Но как?! На ленте – что ни говори! – трубач Фрэдди Хаббард и саксофонист Вэйн Шортер.

– Чертов академизм, – ругается Егоров, – приучили играть по нотам, и никуда без нот. Чувствуешь себя, как баржа на якоре.

– Ну, давай, – говорит Влад, – первый квадрат начинаешь ты, а я, чтобы ты не запутался, буду выдувать функции.

– Я должен слышать рояль. Живой рояль.

– Это понятно, – говорит Водкин, – это, может быть, и правильно. Но пока рояль ни при чем. Нужно когда-нибудь выезжать самостоятельно.

– Пусть магнитофон тему сыграет, – предлагает Никита, щурясь от сигаретного дыма.

– Нет, – спорит Влад, – легче стартовать живьем, от себя.

– Только ты меня не перебивай и не останавливай.

После темы Никита варьирует вокруг мелодии. Получается похожее на «Во саду ли, в огороде». Но тут ему вспоминается одна яркая фраза Хаббарда, и он начинает ее развивать. Влад кричит и грохает кружкой по столу, отмечая каждую вторую долю. На втором квадрате Егоров странствует неподалеку от темы. На третьем – уходит дальше. Влад склоняется к нему и поет главную мелодию на уху.

Потом Водкин сменяет его.

– Ну, что записываем? – говорит Водкин. – Ставь катушку, а я пока тенор искупаю.

Владу выдали ленинградский саксофон, старенький, облезлый, добитый, он кое-как приладил трость. Но клапана пропускают воздух, и ему приходится смачивать замшевые подушки под краном.

Записали – слушают.

– О, нет! – Никита морщится, как от зубной боли. – Это я, что ли?

И Влад мрачнеет, когда доходит дело до него.

– Шортера бы стошнило, если б он меня услышал.

– А у Хаббарда случился бы приступ мигрени, – говорит Егоров. – Но у тебя лучше получается.

Водкин мотает головой, стучит кулаком по коленке.

– Брось, не успокаивай меня... Хотя это самовар, а не саксофон, я бы и на «Сэлмере» лучше не сыграл. Полная лажа!

Оба курят последнюю сигарету, передавая ее друг другу.

– Я одного не понимаю, – говорит Водкин, – они-то где научились? Где, вообще, учат джазу?

– Они черные. У них это в крови. Белым так не сыграть.

– Не верю! – кричит Влад. – В Штатах есть отличные белые музыканты, и во всем мире. Это мы тут сидим, в этом союзе нерушимом, как в нужнике, и ничего не слышим. Я тебе уже говорил, надо линять в Америку!

– Ладно там, про Америку. А звук? – говорит Никита. – Чувствуешь, какой у Фрэдди звук? Как он раскачивает вибрато!.. Труба мягкая. И эта странная фонетика... Заметил, как они чередуют стаккато и легато?

– Стиль называется бибоп, – объясняет Водкин. – То есть, кроме первой ноты, каждые две последующие заливованы. Получается «па-пара-пара-пара...» и так далее. Но вроде и с оттяжкой.

Никита гасит окурок в блюдце.

– Я импровизацию Хаббарда запишу. И буду долбить до тех пор, пока не получится.

Егоров сидит с нотной тетрадью у магнитофона до утра, слипаются глаза. Интересно, что сейчас поделывают звезды джаза?

В Штатах пятый час дня, значит, Фрэдди мог повести Вэйна в бар. Сидят, обсуждают контракты, будущие пластинки.

А у Егорова даже щепотки чаю нет. Он израсходовал весь карандаш, стерся ластик, но почти вся импровизация записана.

За окнами пьет, гуляет, дерется, совокупляется ночной город.

Проходит месяц. Никита разучивает импровизации медленно, такт за тактом, подражая великим трубачам до мелочей.

Другой мир раскрывается перед ним, и он попутно обучается многим приемам игры, о которых и не подозревал раньше.

Через неделю друзья уже могут играть в подлинном темпе всего одну вещь – ту, с которой начинали, «Down Under».

Они включают «Язу» на полную мощность, поднимают инструменты. После темы каждый играет свою импровизацию вместе с солистом на ленте.

– Ну, что? – торжествует Влад. – Говоришь, могут только черные?

Ждать стипендии – свихнешься с голоду, но воровать они не приучены. Стыришь на копеечку, испытаешь гнев державы на миллион, и долго еще будет мстить вдогонку.

Неподалеку от общежития торгуют требухой, украденной с местной скотобойни.

Над сумками планируют мухи.

Очень красивые.

Просто сказочно красивые мухи, лапки бархатно-черные, глазки красные, а крылышки зеленые.

Мухи воруют мясо и нагло смотрят на работниц. А работницы смотрят на Егорова и Водкина с оправданным недоверием: эти ничего не купят.

Водкин, отойдя в сторону, говорит, что внутренности напоминают ему человечьи. Он их в прозекторской видел, когда подрабатывал санитаром на первом курсе и трупы таскал.

Музыканты плетутся домой.

А там – тяжелый дух вечно засоренных унитазов да помойных ведер.

Из-за этого Никите бывает трудно заснуть.

А как заснет, видит разрытые могилы и больших черных собак.

Просыпается он среди ночи, идет гулять, чтобы избавить себя от могил и собак, поскольку ему не нравятся мысли о смерти.

В ясные ночи ему кажется, что луна прыгает и покачивается. Будто хочет, чтобы Егоров завыл по-собачьи.

Взвоешь тут. Пончики давно съедены, от киселя остались одни обертки, хлеба нет.

Ходили на брошенный элеватор, ловили голубей шапкой,

сворачивали головы, обмазывали глиной и запекали на костре. Голубиное рагу – волшебный деликатес, если сторож не врежет по заднице из ружья.

Уже было: Влад лежал на животе, Никита булавкой, прокаленной на огне, крупинки соли выковыривал. Найти же гнездо с голубиными яйцами – редкое везение, но это весной.

Можно доски разгружать на сортировочной, таскать мешки с цементом. Но потом кисти рук сводит, пальцы болят, к инструменту не подойдешь. Один пианист нанялся дрова колоть, саданул по мизинцу. Трубочу мизинец не так важен, а для клавишника, считай, моральная смерть: большой и безымянный пальцы в октаву не растянешь.

Скрипач Сёма повесился в туалете.

Его сначала в общежитии дразнили. У него привычка была спать с открытыми глазами. Зубную пасту в рот заталкивали.

Ушел. Кое-как снял угол с клопами, но вскоре вернулся муж хозяйки из тюрьмы, заставлял одеколон пить, скрипку разбил, начал колотить Сёму, как бы из-за ревности. Сёма не выдержал. Кто-то в училище пустил слух: из-за несчастной любви. Но Никита с Владом точно знали: не было у Семёна никакой любви, не успел еще. Как и они сами. Как и большинство пацанов из музыкалки, только хвастают.

Влад считает, что остаются две дороги: либо к Маргарите, либо к Леопольду.

Леопольд Петрович, актер местного театра, человек добрейший, но гей, об этом весь город знает, и прокуратура тоже. Засаживали бы давно, но не могут: все же единственный в области заслуженный артист республики.

Леопольд после спектаклей охотно делает минет всем желающим мальчикам. И платит без обмана, по пять рублей каждому.

Егоров говорит, это не мне, пусть хоть золотом обсыплет. В таком случае, предлагает Влад, остается Маргарита.

Якобы вчера она Водкину игриво молвила, почему они с Егоровым к ней в гости не зайдут. Он как раз занимался с ней на фоне. У него обязательное фоно тяжело идет, и вроде бы Маргарита возложила женскую длань на руку Влада и всё это сказала.

– Не трендишь? Так и сказала, с Егоровым? – недоверчиво уточняет Никита.

– Не могла же она предложить: приходи, Владик, один, повеселимся, заодно и покушаем?

– Задача, – говорит Никита. – Ладно, пошли от дежурной позвоним.

– И что ты скажешь этой чувихе?

– Ты и скажешь, Ник. Симпровизируешь.

Влад набирает номер под косые взгляды дежурной.

– Маргарита Алексеевна? – он чуть ли не поет в трубку. –
Добрый вам вечер, дорогая, это вас Владислав беспокоит.

– Кретин! – шипит Егоров, закрывая трубку. – Что значит,
беспокоит? Тебя же в гости звали! И причем тут дорогая?

– Отвали, чувак! Еще одно слово, и я вешаю трубку!

– Ну, и вешай!

– Ну, и повешу!

– Ну, и пошел ты!..

– Сам пошел!..

Дежурная ерзает.

– Мальчики, драться на улице.

– Да, да, Маргарита Алексеевна, я не пропал, – почти кричит Влад в трубку. – Конечно, зайдем... По «Волшебной флейте» поговорить надо... У вас клавир есть?.. И пластинка Моцарта?.. Ну, здорово... Дом шесть, это я запомню, а квартира?.. Семнадцать?.. Отлично, сейчас будем.

Он швыряет трубку на рычаги.

– Насчет Моцарта ты классно задвинул.

– Гениальный человек гениален во всем.

Маргариту Никонову прислали после питерской консерватории, ей двадцать пять.

Лицо юное, поэтому для солидности собирает волосы в копну на макушке, носит очки в роговой оправе, хотя ноль диоптрий, обычные стекла, только чуть дымчатые, по моде. На академические вечера надевает кофточку с блестками,

янтарное ожерелье и юбку-колокол выше колен, отчего ноги Маргариты кажутся стройными, но без колокола выглядят тяжеловато. Со всеми на «вы».

Свои занятия обставляет, как в театральной студии, и старается, чтобы запомнилось либретто.

– Итак, джентльмены, – вещает Маргарита, вытаращив глаза, – отправился Орфей в царство мертвых, где не был никто из живых...

Рокошет рояль на низких октавах. Кружат по классу студенты, «витают», расставив руки. Они злые духи, фурии, желающие схарчить главного героя. Маргарита играет роль Эвридики, а какому-нибудь симпатичному мальчику, вроде Егорова, поручает роль Орфея.

Она завязывает ему глаза надушенным шарфом.

– Ступайте, Никита, и пойте свою арию... Ну, что же вы, слова забыли? – Подходит к роялю, тычет в клавиши: – Потеря-а-ал я Эвриди-ику, Эвриди-ики нет со мной...

Хорошо, что не по-немецки.

– Между прочим, – говорит Никонова, лаская юношей глазами-маслинами, – во времена Глюка женщин не допускали на оперную сцену. За них пели кастраты – ужас и огорчение. Так что я не должна петь Эвридику. Водкин, вы владеете фальцетом?.. Отлично!.. Прошу вас. Представьте, что вы кастрат. Будете Эвридикой. А вы, Егоров, получается, безумно любите Водкина и тоскуете по нему...

Значит, план такой. Они приходят, как представляет себе Влад. Чувиха, конечно, уже вылезла из ванны. Она, допустим, в халате на голое тело и в тапочках. Подает чай. Садятся. Сдержанно, подчеркивает он для Ника, обжора чертов, сдержанно заедают чай печеньем. Пробуют перейти на «ты». Потом Влад выходит в туалет, а Никита целует Маргариту Алексеевну. И полдела сделано.

– Я?! – поражается Егоров. – Ты же говорил, она на тебя глаз положила?

– На меня, на тебя... Не морочь голову! Для нашего проекта главное – результат, а именно деньги!

Друзья почти не узнают Никонову: волосы распущены, глаза подведены тушью, красное на ней, выходное платье, туфли в тон и на шпильках. Игрет музыка.

– Мальчики, – говорит Маргарита низким контральто, – как я рада! Проходите же! Тапочек не надо, я потом подотру!

На столе столько всякого, что у друзей кружится голова.

Водкин откашливается.

– Мы, собственно говоря... по поводу «Волшебной флейты». Нас вот какой вопрос мучает...

Никонова машет рукой.

– Моцарта мы еще успеем обсудить. Ешьте, я за вином.

Она уходит на кухню, Влад толкает Никиту в бок.

– Ну, что я говорил! Считаю, она наша!

Вино «Лидия», как ханский шербет, – на этикетке сдобная блондинка, похожая на Маргариту.

Выпивают.

У друзей кружится голова, а Маргарита только слегка ронзывает.

– К черту флейту, долой академизм! Давайте веселиться! Ой, постойте, да вы же еще не пробовали ничего? Вот грибы, мама прислала... Вот селедочка, картошка отварная... А вы слышали Робертино Лоретти? Итальянская школа! Сейчас пластинку поставлю... Или еще по глотку?

Егоров встает.

– У меня тост! За присутствующую здесь прекрасную женщину! За вас, Маргарита Алексеевна!

Мальчишка-итальянец поет, сладко звенят мандолины. Кажется, за окном не промерзший город в дыму градирен и котельных, а летний берег, зонтики, лодки.

Маргарита слушает пластинку, подперев ладонями подбородок, глаза влажно блестят:

– Это безумно, безумно хорошо!

Егорову с Водкиным не до Лоретти. Они изо всех сил стараются сдержать аппетит.

– Никогда не думал, что требуется столько сил, чтобы не сожрать всё сразу, – шепчет Водкин Никите. – И убери от меня эту сосиску, Ник!

– Я сам ее изо всех сил игнорирую.

– Может, пока картошки поедим? Она дешевая.

Влад не выдерживает и первым нагружает в тарелку всё, что видит в радиусе вытянутой руки.

– О чем шепчетесь? – спрашивает Маргарита, пока игла шипит, скользя по пластинке к следующей дорожке.

«Джамайка! Джамайка!» – вопит Лоретти из динамика.

– Нет, – говорит Маргарита, – так не годится. Совсем ничего не кушаете. Не вкусно, что ли?

– Потрясающе, – восхищается Егоров, – царский ужин!

– Хотите еще?

– Я, кажись, переел. – Водкин икает, прикрыв рот ладонью.

– Это не ответ. Пока всё не съедите, я вас не отпущу, – приказывает Маргарита, доставая очередную «Лидию». – Откупоривайте, Никита! Presto? Presto!..

Они выпивают еще пару бокалов, закусывают, и Никита видит уже не одну Никонову, а две.

И абажура над столом два, два шифоньера, два трельяжа.

Он хочет сказать об этом, но язык деревенеет.

Влад, видно, тоже не в себе: лицо бледное, губы дрожат:

– Прошу прощенья, я все-таки откланяюсь.

Никита встречает встревоженный взгляд хозяйки, точнее – двух хозяек, двух лиц, четырех глаз, которые синхронно кивают, как головы дракона. Она, похоже, искренне расстроена. На самом деле боится, что Влад блеванет прямо на стол, думает Егоров. Он косится в сторону прихожей. Ему видно, как она цепляет на шею Водкина шарф (тот качается, держится за вешалку), помогает засунуть руки в плащик.

Наутро Влад скажет, что ему обидно. Всё вышло, абсолютно все деликатесы, ничего не осталось. Потом желчью рвал. Лучше б он сдох.

А пока хлопает дверь, Маргарита возвращается в комнату, где сидит, склонив голову на грудь, полусонный, разможенный сказочной едою Егоров.

– Ну, и что мы с тобой делать будем?

– Не знаю, – хрипло бормочет Егоров.

Он смотрит на голую коленку Маргариты.

Он бы и не смотрел, но она маячит прямо перед ним, белая, округлая, бархатная, с прыщиком на боку, и больше некуда глядеть.

Весь мир теперь состоит из восхитительной коленки Маргариты Алексеевны Никоновой.

Она – модель Земли или даже всей Вселенной.

С такой коленки мог бы стартовать Гагарин в свой беспримерный полет. Эта коленка – мать всего сущего!

Маргарита гасит сигарету. Пальчики пианистки скользят под дырявый свитер Никиты, под застиранную сорочку.

Егоров смущен: там у него и мышц нет, одни ребра, и ему щекотно.

Егоров вспоминает, что единственные женские руки, которые к нему прикасались за последнее время, – это руки рентгенолога. Но они прикасались профессионально, ища в Никитином теле возможные изъяны. А от пальцев Марга-

риты веет теплом, даже кожу покалывает. Начинается дрожь, которую Егоров не в состоянии унять.

В общем, полная беспомощность. И кровь приливает совсем не к той части тела, куда хотелось бы. Она приливает к голове Егорова, и он краснеет, как на экзамене.

– П-простите, – заикаясь, выговаривает он, – н-ничего не могу с собой поделать.

Маргарита смеется.

– А что ты должен делать с собой, товарищ Егоров Никита Николаевич?

Сейчас или никогда, думает Никита, зажмуривается и говорит:

– Можно ли, я вас поцелую, Маргарита Алексеевна? Мне вот теперь очень захотелось вас поцеловать. – И, неловко сграбастав женщину, впивается в ее губы.

Губы у Маргариты пухлые и теплые.

Как у лошади, думает Егоров, когда лошадь берет сахар с ладони.

Только у Маргариты, в отличие от лошади, губы пахнут виноградом, а шея духами «Ландыш», и еще ватный привкус от губной помады, после каждого поцелуя облизываешься.

– Ой, какая вы!..

– Какая я?.. Слушай, Егоров, перестань мне выкать, – приказывает она, отстранив от себя Никиту, – а то я чувствую себя, как на педсовете. Расскажи-ка лучше: у тебя были женщины?

– Конечно, – выпаливает Егоров, радуясь паузе, чтобы отдышаться, – и не одна.

– Конгениально. И сколько же?

– Ну, две или пять... Не помню.

– Врать-то!

– Я не вру.

– Ну, тогда я раздеваюсь, – объявляет Маргарита.

Теперь ему ясно, как это происходит с женщинами.

Сначала поцелуй, потом надо перечислить, с кем и когда спал. Это, оказывается, их заводит, и они раздеваются.

По правде говоря, у него никогда не было женщины.

Он плохо помнит, как они оказались под одеялом, и тела ее в темноте не помнит.

Называл своей Ритой, убеждал, что любит, никого так не любил, а она шептала одно и то же: мой мальчик. И еще: у тебя другая будет, я чувствую, знаю, и уж с таким, как ты, ей точно будет хорошо. Требовала поверить.

Пьяный Егоров плакал по-детски, не стыдясь слез.

Утром она звенит посудой, жарит что-то.

Никита валяется на тахте, рассматривая детали интерьера, которые не разглядел вчера: репродукции, книги по искусству, дипломы в рамках, фотографию Риты с родителями.

Он водит пальцем ноги по узорам ковра на стене.

Прислушивается к звукам из форточки: гул, звон отдаленных трамваев, грохот мусорной машины, чья-то ругань.

Единственно, что хочется ему, это продлить уют, который он едва помнит из детства.

Его слегка поташнивает от вчерашнего вина и жирной еды. Он думает о Владе. И еще о том, что помимо шести коек в комнате, где они с Водкиным занимают две, кроме поисков жратвы и споров о джазе, оказывается, есть еще множество других вещей.

Например, комнаты, квартиры и даже дворцы, где живут волшебные женщины, подобные Маргарите Алексеевне.

Есть и другие места, может, даже лучше Америки.

Например, остров Бали, на который он наткнулся как-то в энциклопедии. Там не бывает снега и круглый год жарко. Там прыгают по веткам обезьяны и плоды сами падают сверху, подбирай, не ленись. Покушал, и можно играть джаз, сколько захочется.

Рита появляется в пестром платье узбекского шелка, еда и кофе на подносе.

Взгляд ее покорен: раба любви, и у них почти медовый месяц. Но мнительному, насквозь, до костей ревнивому Егорову кажется, что она снова играет какую-то роль, вроде учебной роли Эвридики.

Рубашка Никиты выстирана и поглажена, брюки отпарены; он одет, он уже на пороге, он готов покинуть этот нере-

альный мир.

– Рита, можно я приду вечером?

– Пожалуй, не стоит.

– А завтра?

– Завтра я занята.

– Чем?

– Почему ты не спросишь кем? – вдруг резко отзывается она.

– Но ведь мы же с тобой...

– Егоров, дружок, чем скорее ты выкинешь всё это из головы, тем лучше. Будь мужчиной. Ведь ты им уже стал...

Никита мрачнеет.

– ...а настоящий мужчина не станет рассказывать, кому не попадя, что...

Мир перед его глазами теряет краски, а сам он будто слепнет.

Он машинально кивает. Ему нечего ответить.

Что бы он теперь ни изрек, бесполезно.

– Ты обиделся? – Никонова трясет его за плечо. – Ну, конечно, обиделся... И напрасно, Никита. В твоей жизни еще всё возможно.

«Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу», – вспоминает Егоров. – А потом, конечно, всё возможно.

Никита запомнит каждое, сказанное ею на пороге слово.

И интонацию, и даже тональность.

Он даже не раз потом во сне увидит, как она откидывает волосы, пахнущие шампунем, чмокает Егорова в лоб совсем по-матерински.

– Да, чуть не забыла, тебя же Владик ждет, и вам есть нечего.

В ее руке червонец и пятерка. Неслыханное богатство, им хватило бы не только до стипендии.

Пятнадцать рублей до единой копеечки!

Если не соблазняться на портвейн, не покупать носки, месяц прожить можно. Шикарный гонорар. Пятнадцать рубчиков за проведенную ночь.

Рука Егорова обретает чувствительность, тянется за деньгами: он обязан их взять. Рита улыбается, но уже совсем как чужая; шевелит бумажками, дразнит: бери, мальчик, заработал.

Никита делает над собой последнее усилие, резко поворачивается и бежит вниз по лестнице.

Дверь хлопает, как выстрел в спину.

Глава 6

Прощанье со славянкой

Егоров валяется все воскресенье, то проваливаясь в сон, то просыпаясь, чтобы сбегать в туалет. Вечером садится на койке, обхватив голову руками. Над кроватью приколота обложка журнала «Америка», Луи Армстронг с трубой; белки вытаращенных глаз. Великий Сачмо держит трубу, обернув помпы платочком, но зачем ему этот платочек, никто не знает.

– Оклемался? – спрашивает Влад. – Пока ты дрыхнул, сменилась эпоха. Хрущева сняли.

Егоров швыряет во Влада подушкой, потом еще первым томом «Хорошо темперированного клавира».

– Снова врешь.

– По радио передавали. Не веришь, пойди у ребят спроси. Они по этому случаю наливают всем желающим.

– Ну, и правильно, что сняли, кукуруза – царица полей, задолбал.

– Дело не в этом, Ник. Он современное искусство ненавидел. Он Вознесенскому нахамил! О джазе слышать ничего не хотел. А уж о роке тем более. Над гениальными битлами смеялся, ни одной пластинки не вышло. Во всем мире миллионы, а у нас ни одной.

И вот уж дело к новогодним праздникам, к сессии, а потом каникулы. В училище говорят, заболела Никонова и лекций не будет, можно репетировать по классам.

Вечерами Егорова тянет к известному дому, под знакомое окно. Он ничего с собой поделать не может – магнетическое притяжение. Шторы в ее окне прикрыты плотно. Никите мерещится абажур над столом, где они недавно пировали, там вроде колышутся тени.

Ему жаль Маргариту: тахта, плед, лекарства на тумбочке. Может, доктор поставил банки, и она пошевелиться не может.

Когда Егорову было лет девять, и он, искупавшись на спор в проруби, получил пневмонию, ему тоже банки ставили. Он тогда сильно температурил, поэтому не запомнил лица толстой фельдшерицы, но запомнил косы, руки ее с горячей ватой на лучине, мелькание огней, и чувство, будто тебя схватил крокодил, еще миг – и всего проглотит, вместе с ночной сорочкой, шарфом и носками.

Егоров вытаскивает из футляра трубу, кладет за пазуху, чтобы согрелась, снимает перчатки, дышит на пальцы. Он неотрывно смотрит на это окно. Потом вставляет мундштук и размышляет, что бы ему такое сыграть для Риты. «Серенада» Шуберта. Он начинает играть, поражаясь, какая замеча-

тельная акустика в этом дворе, прямо как в зале.

Его, конечно, слышали. Раздвигаются занавески, выглядывают лица.

– Эй, ты, прекрати хулиганить! – кричит женщина.

– Серенады вздумал играть, шут долбаный? А о людях подумал? – В слове «людях» он делает ударение на последнем слоге. – Людям завтра на работу, им отдыхать надо.

Тут присоединяются другие:

– Играй, пацан!

– Молчать!..

– Да пошли вы! У него классно получается!

– А я говорю, по морде!

– Заткнитесь, уроды!

– Дружинников хоть вызовет кто-нибудь? Позвоните в дружину, у кого телефон есть!

Никита продолжает, возвращаясь к главной партии. Труба поет плавно, кантилена. Да и пусть ментов вызывают, он доиграет до конца. Но тут чья-то тяжелая рука ложится ему на плечо, Никита оборачивается.

Перед ним курсант: голубые погоны, шапка со звездой заломлена на макушку, чуб вперед, глаза горят.

– Вы Егоров?

– Ну, я.

– Тогда это для вас, – протягивает записку. Никита читает: «Тов. Егоров, прошу прекратить. Вас тут не поймут, а у меня из-за вас будут неприятности. М. А.».

– А ты кто такой?

– Я, молодой человек, если вам интересно, ее жених.

– Жених?!

– Так точно. А на словах Маргарита Алексеевна просила передать, чтобы вы оставили ее в покое и под окнами не дудели. – Курсант переминается с ноги на ногу, снег хрустит под ботинками. – Слушай, ты ведь сам должен понять: скоро свадьба у нас. Уже заявку подали.

У Егорова горло сжимает судорогой. Ему хочется спросить, когда именно они в загс ходили, ведь получается, что принимала их с Владом Рита, будучи невестой, но вместо этого он бормочет:

– Ты, конечно, ни при чем, служивый, но как твоя фамилия?

– Я своей фамилией горжусь, я свою фамилию ни от кого не скрываю, – миролюбиво отвечает курсант. А отчего бы ему и не быть добреньким? Получил всё, что хотел. – Мои предки у Богдана Хмельницкого служили. Понял? Прибытко моя фамилия. Курсант Прибытко Степан Васильич.

Егоров отворачивается, у него вмиг рухнула жизнь. Никита ест снег, размазывает его по лицу. Отец Небесный, еле слышно шепчет он, помилуй и спаси! Это ведь несправедливо, мать вашу, люди хорошие!

А Прибытко о своем: может ли он, дескать, передать Маргарите, что больше никогда... Трубач отвечать не хочет. Что же это было у него с учительницей музлитературы? Вне-

запная любовь, подобная смерти, страсть или желание пригреться, жрать любимую колбасу одесскую до одури и икоты, да еще Влада прикармливать, ходить в чистом, иметь уютный секс на подушках с кружевами, забыть о голодухе...

А Рита, с этим Прибытко? Они-то уж теперь точно распишутся в глупом загсе под сладкий марш Мендельсона.

– Ну, что же вы, Егоров? – торопит курсант.

Вот это да! На свадьбу приедут родители Риты, строгие интеллигенты с фотографии, гордые выбором дочери. Офицер – это то, что надо. Надежной будет семья, потому что никуда Прибытко не сбежит от мести политотдела. Они, например, поселятся в военном городке, в дальнем гарнизоне. Рита, если сложится, станет учить детей музыке. И ждать своего Прибытко после полетов, всякий раз пугаясь грома и путая его со взрывом самолета. Она родит ему пучеглазых детей с такими же носами картошкой, как у этого Прибытко, а по праздникам будет печь пироги. Правда, есть еще безумный вариант, что Прибытко запишут в отряд космонавтов. Тогда Никита когда-нибудь прочтет в газете, что на вопросы нашего корреспондента отвечает жена известного...

Доводит себя Егоров до состояния, когда печаль переходит в гнев. Он укладывает трубу в футляр, ставит у ног, надевает перчатки.

У него имеется жгучее желание треснуть Прибытко по ру-

мяному лицу, по растопыренным губам, по носу.

Ему хочется дать пинка под его тощий зад, чтобы показала ушанка со звездой, призванной осветить офицерское будущее с женою Маргаритой.

Он оборачивается резко, горят глаза. В них прямая и явная угроза. Тот, кому приходилось драться, ни с чем такой взгляд не перепутает.

Курсант вытягивает голову в плечи, нахохливается, вынимает кулаки из карманов шинели.

Сначала под дых, чтобы согнулся, планирует про себя Егоров, а потом в морду.

– Вы, что ли, Егоров, драться со мной собрались? – говорит Прибытко, отступив на шаг. – Драться нам с вами, Егоров, не выгодно. Это факт нашей с вами быстротекущей жизни. Вас менты загребут, а меня патруль. Я уж и так, Егоров, если честно, вам по правде сказать, в самоволке.

– Ну, и катись к своей невесте.

– Я не могу к ней покатиться, Егоров, поскольку я только что выкатился и собрался в училище. Там меня, Егоров, кадеты до десяти прикроют, а дальше прикрывать не станут. Такой уговор. – Топчется на снегу в нерешительности.

Неплохо излагает, гад, думает Никита, натаскали.

– И это, Егоров, дает нам с вами шанс покатиться дальше вместе, если не возражаете, натурально, в заведение «Горячие сердца». Там мы можем обсудить ваше и мое положение в спокойствии ума и здравости рассудка.

– Где же такое заведение, что-то не припомню, – говорит Никита, у которого перед глазами возникают стакан вина и сосиска.

– Стекляшка у автовокзала. Я угощаю.

Похоже, Егорову больше нечего терять.

– Да хрен с тобой, пошли!

Они пьют третью бутылку молдавского.

Прибытко давно снял ремень, сбросил шинель, расстегнул пуговицы гимнастерки; «здравости рассудка» у обоих не наблюдается.

Через витрину видно, как подруливают к станции автобусы, сплошь надутые индюки, львовские. Через дверцы протискивается продрогший народ, держа баулы над головой.

Идет крупный снег, как на открытке с видом Кремля. Заведенье украшено звездами, флажками, на стенах колышутся шары. Дед Мороз на ватмане напоминает урку: глазищи злые, нос красный.

Над раздаточной размахнули плакат: «С наступающим Новым годом, товарищи!»

Табачный дым, гам, народу полно, все стулья заняты.

– Ты, вааще, классный мужик, – говорит пьяный Степан. – И чего в музыку пошел? Лучше бы на летчика выучился. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки... За мою невесту! За Маргариту!

– Мы же договорились: ни слова о бабах!

– Извини, – соглашается Степан, гася папиросу. – Я понимаю... Печет тебя, да?... Ну, это... как уголек у сердца, долго не погаснет... Нужно время, брат...

– Не знаю, – печально говорит Егоров. – Я ничего не знаю о времени.

– А о самолетах?

Егоров отворачивается, он всё еще безутешен. Степан гнусаво поет:

– Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...

– Да пошел ты! Жених долбаный!

– Кончай, Никита! – Степан слегка толкает Егорова в плечо. – Лучше сыграй!

– Отстань!

– Очень тебя прошу!.. Ты, когда во дворе играл, честно, у меня просто мурашки по коже...

– Ты так считаешь?

Егоров смотрит на Прибытко, как на сумасшедшего, потом достает трубу, на них оглядываются.

– Эй, музыкант, развесели душу!

– Давай чего новогоднего!

– «Сероглазую»! А мы подпоем! До чего ж ты хороша, сероглазая! Как нежна твоя душа, понял сразу я!

Никита оглядывается, Степан торопит:

– Начинай, люди ждут.

Почему-то стихает шум, даже жевать перестали, устави-

лись в сторону Егорова.

Что же им сыграть? Классику? Глупо. Джаз не поймут. Никита возвращается к той мелодии, о которой подумал сразу же. Так часто и бывает: о чем первом подумал, то и правильно.

Он понимает, что не имеет права облажаться, набирает побольше воздуха, там почти всё на длинном дыхании. Та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра-а-ра-рам... «Прощание славянки».

Он еще до второй части не добрался, а краем глаза замечает, что какой-то мужик встает, потом и другие, все до одного. Снимают шапки, опускают головы, не смотрят друг на друга. Из кухни выходят повара, посудомойки берутся под руки, прижимаются друг к другу, словно вдруг осиротели и у всех одна беда.

Курсант-авиатор Степан Прибытко, без пяти минут муж Маргариты, тоже встает, застегивается, защелкивает пряжку, но шапку надеть не решается, отдает честь маршу с непокрытой головой.

Егоров играет и чувствует, будто расстается с чем-то очень важным, щемящим, наипоследнейшим, с тем, что никогда больше не вернется.

И видит, видит вдруг Егоров краем глаза, как возникают из прокуренного воздуха два ангела небесных, оба в плащ-накидках с ППШ на груди, будто с памятника, что у кинотеатра «Победа», соскочили. Они встают по обе стороны

от Егорова, обнимают его за плечи, всем своим видом выказывая удовольствие.

Что это, будто спрашивает Егоров ангелов. Почему дыхание сбивается и ком в горле, так ведь играть почти невозможно! Чего мне жаль?... Детства, отвечают ангелы. Оно у тебя вот-вот закончится... Прямо сегодня? Егоров удивлен... Теперь, сейчас, через минуту-другую... А дальше что?... Ангелы молчат.

Нужно ли Егорову знать будущее? Не лучше ли настоящее, музыкалка, этот город, похожий на казарму, и эти отрывистые звуки о том, что прощание слаще разлуки? Или чужое прошлое?

Егоров пытается представить эшелон, и солдата в шинели с винтовкой и папахе с царской кокардой, и девушку, повиснувшую у солдата на шее, и командиров с саблями, которые данную славянку отрывают от солдата: пора в окопы, брат, пора на смерть...

Никита и свою партию ведет, и за баритон, который во второй части главный, который душу вынимает из людей и рассматривает ее на предмет чистоты. Он понимает, что нельзя обрывать музыку, не понравится это людям, и повторяет весь марш еще раз, до каденции, до последнего звука.

Эту тишину, которая наступает после игры его, мертвой не назовешь.

Это живая тишина.

Слышно, как трещат на плите котлеты, урчат автобусы

за окном и где-то гудит сирена скорой.

Время идет, а люди стоят, замерев, как восковые фигуры в музее мадам Тюссо, где не бывал и еще не скоро побывает Егоров.

Потом один идет через зал к Никите.

– Сынок, что же это ты с нами делаешь!.. Молчи. Сам не знаю, что сказать. Думал, спасибо, но какие уж тут спасибо! – Он вытягивается, насколько позволяет больная спина. – Комбат Фёдоров, Второй Белорусский фронт. – Он распахивает тулуп, отвинчивает орден с пиджака, остается на лацкане пятиугольное пятно с дыркой. Фёдоров его поглаживает, как шрам от пулевого ранения, протягивает Никите орден. – Бери, твой.

– У вас боевая награда. «Красную звезду» в тылу не давали. А я кто такой?

Старик кладет ему руку на плечо.

– Ты тот, кого ждали. Понял, сынок? Мы ждали, ядрена медь, и ты пришел. Вот оно... Так что получай и храни. – Он обводит взглядом остальных. – Люди, я правильно говорю?

– Правильно, мужик!.. У гроба карманов нету!.. А родня продаст да пропьет!.. А ты, пацан, бери, это тебе не ГТО...

Взгляд Фёдорова прикован к трубе.

– Можно потрогать? – Осторожно поднимает инструмент со стола, трогает металл заскорузлыми пальцами, нажимает педали. – Ядрена медь! И это все оттуда? А можешь еще раз? Для меня вот лично?

– И для нас, для нас тоже! – раздаются голоса.

Снова звенит печальный марш, но теперь люди хлопают в ладоши, отбивают ритм. Но примечает Егоров, как в застекленном тамбуре возникает фигура милиционера.

– Прекратить! – кричит сержант, едва войдя в закусочную и расталкивая людей. – Вы сюда культурно отдыхать пришли или что?

Умолкает Никитина труба.

– Да пусть парень играет!.. Это же «Славянка»! Не знаете?..

– Набрались, как свиньи, и балаган устроили!

Фёдоров проталкивается вперед.

– А, ну смир-р-на!.. Представиться по форме, кто такой?!

– Ты на меня не ори, – говорит милиционер. – Вот заберу, узнаешь.

– Я старше по званию. Имею право. Я Вену брал.

– Мне плевать, что ты там брал, а что сдавал. Не положено.

Выходит маленькая пожилая женщина в белой косынке, с красными дрожащими руками.

– А тебе что? – спрашивает сержант.

– Не тебе, – кричит женщина, – а вам! Не смей мне тыкать!

Боже, думает Егоров, неужели это все с ними «Славянка» сделала? Вспомнили, что они люди, откуда родом, и стали бесстрашными. Сама власть нипочем.

– И не смей обзывать нас свиньями!

– Правильно! – кричат вокруг.

Она дальше не может говорить, только беззвучно разводит руками, ее уводят в сторону кухни.

А люди будто очнулись.

– Пошел отсюда на хрен со своим пистолетом!

Руки тянутся к погонам на полушубке, милиционер уворачивается.

Вмешивается Фёдоров. Он слегка толкает сержанта в грудь, тот почти падает на стул, шапка слетает с головы, утирает пот со лба.

– Оставьте дурака в покое, – говорит он людям, надевая шапку на сержанта. – Милиционер не виноват. Его жизнь таким сделала. А ты, друг сивый, посиди, музыки послушай.

Фёдоров наливает сержанту полный стакан, тот, поколебавшись, выщеживает до дна, закусывает. Все замерли, ждут, что будет дальше. После второго стакана сержант снимает полушубок, расстегивает китель, лицо красное, становится пьяный, как все.

– Ладно, слушай, – говорит он Егорову, – а «Молдаванку» можешь?.. Сам я из Молдавии, понимаешь, из Бендер. Василием меня зовут. Тончу Василий.

И вот уже сдвинуты столы. И закуска общая, и вино. Сало вытаскивают из корзин, режут ломтями, разливают самогон. Егоров играет, люди поют, раскачиваясь, и не замечают, как сержант, поправив форму, уходит...

Никто не замечает и другое: машины подъезжают, из них

выходят военные, направляют фары на дверь, ждут.

– Неужели мент заложил?

– Вряд ли, – говорит Прибытко. – И без него, думаю, нашелся доброжелатель.

– Иди, Стёпа, – говорит Егоров, – ты военный, тебя не тронут.

– Прости, братишка, – говорит Прибытко, обнимая трубача. – И приходи к нам в летное. Тебя кадеты на руках понесут. – Он почти протрезвел.

Люди вываливаются в морозную ночь, проходят сквозь строй, между двумя шеренгами, огрызаясь на солдат. Те оправдываются: мы-то причем? У нас приказ. Егоров выходит последним.

– Минуточку, – говорит ему какой-то парень в пальто и ондатровой шапке – иней на ней искрится под фонарями.

– Вы Егоров?

– Ну, я.

– Вы трубили?

– Запрещается, что ли?

Ондатровый парень хмуро оглядывается по сторонам, стряхивает снег с пальто...

Эх, невнимательный, поглощенный собою Егоров!

Ему бы раздвинуть зимнюю тьму, бросить взор в небо, где затеян о нем великий спор.

Белые крыла против черных, свет против тьмы.

Врут поганые про договор с Егоровым, алчут души, сулят награды. Коли плоха тульская труба, могут подбросить импортную.

Ангелы – о своем: пусть уж подхватит Егоров какой уж есть инструмент да бежит с гиблого места. Они перенесут его, родненького, через заборы и крыши – к родной общаге. Но медлит Егоров, застыл, как статуя, и поэтому...

– Я лейтенант Кошкин, опекунское облуправление. А ты, парень, наделал шуму. Поехали к нам. Потолковать надо.

Едет, едет, едет трубач Егоров на толковище с Кошкиным. Петляет машина по мертвым улицам, черные дома, белый снег на крышах, луна меж облаков, как обкусанное яблоко, скребут дворники по стеклу.

В учреждении казенные ковры, чисто, безлюдно, на дверях кабинетов только цифры.

Кошкин изучает Никиту поклеточно, от макушки до каблучков, как и положено опекуну.

Без пальто и дорогой шапки Кошкин выглядит совсем юным. Лицо широкое, скуластое – мы-то уже знаем, что Игорем Ивановичем его зовут, а Егоров не знает. Поэтому Егоров ловит себя на мысли, что опекун похож на героиню-трактористку Пашу Ангелину, которую он видел в «Новостях дня». Шевелюра зачесана назад, стрижен под канадку – скобка на затылке. Костюмчик не из дорогих, скорее

всего польский, от местного универмага, но сидит ладно; нейлоновая рубашка, узкий, по моде, галстук-шнурок. Говорит тихо, бархатно, как диктор «Маяка» вечернею порой: значит, музыкальное училище, третий курс?

Что касается нерадивого милиционера, сержанта Василия Тончу, то о нем, говорит Кошкин, позаботятся. Не оправдал надежд, которые возлагала дружественная структура. Уволят и отправят в родные Бендеры. Но с Егоровым сложнее.

Глаза юрского ящера сверлят Никиту.

С уголовным кодексом не знаком? Ах, и не открывал даже? И зря! Придется пояснить: светит трубачу Никите Егорову колония строгого режима, там-та-ра-рам, бум-бум-бум!

За что?

Никита больше удивлен, чем напуган. Играл «Славянку»? Это же не какие-нибудь «Конфетки-бараночки» или ужасные, опасные, повсюду запрещенные, потому что очень сильно буржуазные, «Очи черные».

Ну, нет! Конечно, нет! Отличный марш! Кошкин произносит хвалу ветеранам войны и музыке, под которую они еще в опекуновском училище имени Песталоцци мерили сапогами плац. Но Егоров спровоцировал *вок-зальную* пьянь на беспорядки! Вот в чем ужас и огорчение! А копнуть дальше? Угряз в трясине морального разложения, поклоняется западным идеалам. А друг его, Водкин, и вовсе осквернил образ руководителя страны.

Показывает фотку, где Влад плюет в Хрущева.

Егоров защищает Влада, привирает, дескать, напились; ни при чем тут партия и советская власть. Водкин патриотичен и сознателен, имеет значок ГТО II ступени, он даже староста группы.

Но Кошкин начеку. Достает другие листы из ящика, исписанные мелким почерком. Кто же автор, гадают Егоров...

Третий час утра.

Егоров понимает, что Кошкину известно всё, причем именно из листков. И про то, что Водкин намылился в Америку, и что по ночам джаз играют, и что в церкви поют.

Игорь Иванович в ударе. Он на пике профессионального запугивания. Егоров ему про ошибку, а Кошкин – про то, что об ошибках они с Водкиным будут теперь на зоне рассказывать. Там не просто зона, а зона в зоне, ограда из колючей проволоки, через которую ночью пропускают ток. Чуть дотронулся, и кирдык. Удобства во дворе, под конвоем.

Чует Игорь Иванович победу. Вот она, близка.

Егоров ежится от внутреннего холода.

Кошкину, напротив, жарко, снимает пиджак, вешает на спинку стула, ослабляет галстук-удавку, ходит взад-вперед и не спускает глаз с Егорова.

И вдруг:

– Ладно, не бзди! Ты, вообще, симпатичный пацан. И держись хорошо. Нам такие нравятся.

Кому это нам?

Лейтенант большой либерал, почти свой парень, только

зрачки глаз шевелятся, извиваются. Из-за этого никак в глаза Кошкина не заглянешь. Они постоянно в движении, они бегают. И хорошо. По этому признаку трубач Егоров научится безошибочно определять повадку опекунов.

– Ты ведь не враг советской власти? Ты просто оступился, не так ли?

– На что намекаете?

– Не намекаю, а предлагаю: помогать нам.

Кошкин достает из сейфа бланк, кладет перед Егоровым.

Никита думает о людях в закускойной, о комбате Фёдорове. Он нащупывает в кармане орден, сжимает его так, что штифт с резьбой больно впивается в ладонь.

Кошкин смотрит на трубача исподлобья. Слышно даже, как на его руке тикают часы.

Вдруг Никита начинает хохотать, чем вызывает ответную, хотя и неуверенную улыбку опекуна, затем – недоумение и тревогу.

– Чего ржешь, как конь?

– Из меня... Ой, не могу!.. Хотят сделать стукача!..

– Дурак ты, Егоров, – говорит Кошкин. – Какого стукача?

Кто тебя этим глупым словам научил? Система так устроена. Думаешь, она мне по душе? Гнилая насквозь. Но кто-то ведь должен опекать таких, как ты?

– Зачем опекать-то?

– Чтобы глупостей не натворили.

– Должен вас разочаровать. Я не гожусь. Точно, не гожусь.

– Почему же? – Кошкин искренне удивлен. – Я тебе даже оперативный псевдоним придумал. Будешь Трубачом. Хо-хо!

– Я не умею хранить тайны.

– Очень, очень даже тебя понимаю! – Кошкин сочувственно вздыхает. – Сначала все не могут. Научим. Будешь получать почти в шесть раз больше твоей сраной стипендии. Квартирку подыщем отдельную. От армии освободим.

– У меня другие планы. Я могу идти?

– Катись. И держи язык за зубами.

Огорченный опекун, лицо пунцовое, как знамя, подписывает пропуск.

Глава 7

Дело Водкина и Егорова

Полночь, а Влад не спит, горит настольная лампа, Влад читает Дюма.

Никита бросает футляр с трубой на постель, вытаскивает обломки курятины, куски хлеба, пропитанные соком вишнегрета, соленый огурец – в общем, всё, что успел со стола прихватить.

Игорь Иванович Кошкин тоже не спит в своей однокомнатной квартире в блочной башне, на двенадцатом этаже, что торчит серым зубом на Четвертой улице Шестой Пятилетки.

Он лежит в наполненной ванне, высовывает пальцы ног и рассматривает их на предмет морального износа.

В управлении все складывалось вопреки планам Кошкина. В личном деле записано, что он владеет музыкальным инструментом аккордеон, согласно анкете.

Ну, подбирал Игорь Иванович один вальсок, да и то путался с басами. Всё равно назначили опекуном по культуре. Доводы насчет того, что он ни черта в культуре не смыслит, в театрах не бывает, даже в цирк не ходит, – начальство не убедили.

Целый год ушел на вербовку агентов. Но попадались одни ублюдки, способные лишь бегать за переводами. Если не пяток-другой ветеранов, служивших за страх, не о чем докладывать начальству. Поэтому за дело Водкина и Егорова Кошкин ухватился с усердием добермана.

Об этом размышляет опекун, сидя в ванне и глядя на собственные ступни.

Ему неприятно, когда подушечки пальцев в горячей воде становятся похожи на грибы-сморчки, которые он собирал с матерью в лесу.

Кошкину не понять, что причина брезгливости к сморчкам таится в подсознании, где отпечатан его внутриутробный образ, когда недоразвитый плод по имени Игорь, натурально, напоминал гибрид противопехотной мины с колючей проволокой.

И что всё это происки рогатых и поганных, которые, считай, уберегли его от роддомовской помойки.

Однако же рогатые и поганные ничего не делают безвозмездно, и любому ясно, что неудобства Кошкина есть некое об этом напоминание.

Вот ногти. Не любит он стричь ногти на ногах ровно так же, как его покровители никогда не стригут когти и копыта. Куча неудобств! Приходится ставить ногу на край ванны, надевать очки, при этом роняются то очки, то щипцы.

Гадость, гадость, гадость! Видел бы батя!

Но Иван Сергеевич Кошкин, профессиональный Дед Мороз, никак не может помочь сыну. Поскольку в реальном времени, рискуя репутацией, топает по ночной Москве, держа путь от метро «Площадь революции» к гостинице «Метрополь», – выяснять отношения со старой подругой Снегурочкой, гражданкой враждебного государства ФРГ.

На фронте Иван Сергеевич также служил Дедом Морозом.

Точнее, артиллеристом.

Но всякое 31 декабря военные опекуны заставляли его надевать шубу и шапку (тулуп и полковничью папаху командира), набивали мешок трофеями: часами, ножами, коньяком и тушенкою. Снегурочкой наряжали медсестру по фамилии – надо же, снова совпадение, и какое! – Снегурочка.

Оба, постепенно напиваясь, переходили от землянки к землянке.

Понятно, что водка лилась через край, и бился, по словам поэта, в тесной печурке огонь.

Встречая 1944 новый год, надрались так, что красноармейский Дед Мороз потерял полевую жену Снегурочку, поссорились, и она, заблудившись, оказалась у немцев.

Офицеры 110-й пехотной бригады (группа армий «Южная Украина») как раз допивали шнапс и уже собирались прикорнуть перед боем, когда к ним в блиндаж ввалилась

пьяная Снегурочка, размахивая «Московской особой», с рызанским криком «Танцевать, мужики!»

Потрясенные офицеры вермахта схватились за пистолеты, но поскольку Снегурочка не имела оружия, кроме водки, ее позвали к столу.

Тут она впервые увидела гауптмана Клауса по кличке Санта. Весельчак гауптман был в гриме и наряде Санта-Клауса.

Проведя ночь в беспамятстве веселья, сержант Снегурочка утром обнаружила себя на лежанке рядом с Санта-Клаусом и без одежды.

В результате они поженились.

Так что второй раз Снегурочка, приехавшая из Баварии, и Дед Мороз Кошкин, отсидевший за потерю Снегурочки – между прочим, в одном лагере с хоро дирижером Амадеем Сухоруковым, хотя на страницах этой правдивой истории они так и не встретятся, – увиделись в мирной Москве.

Войдя в номер, Иван Сергеевич едва узнает бывшую фронтовую по-другу, столько на ней нездешней сытости и благолепия.

Здесь и муж ее, Клаус по кличке Санта, с бутылками и закуской из «Березки».

После напряженного разговора интуристы и Кошкин напиваются, ударившись в военные воспоминания.

Особенно усердствует Снегурочка, вдаваясь в детали, которые лучше бы не слышать Клаусу, но он на всякий случай

выкрикивает: «Гитлер капут!».

Они также орут русские и германские песни, угощают юных опекунов по ту сторону двери, обмениваются непристойностями.

Наконец, когда Санта-Клаус, не выдержав русской дозы, засыпает, Дед Мороз, согласно давнишней мечте, овладевает Снегурочкой в ванной...

Однако же в данную минуту жизни его сын, Игорь Иванович, об этом даже не подозревает.

Ему тоже хочется женщину, но у Кошкина нет женщины. Иногда он мастурбирует, глядя на глянцевого красавиц из заграничных журналов, которые хранит под диваном.

Порнушку одолжил Игорю Ивановичу начальник отдела по борьбе за нравственность народа Маркин.

Уж его-то, Маркина, Кошкин мог на полном основании заподозрить в сношениях с нечистым. Чеснок ненавидит, даже с борщом, это раз. В баню не ходит, это два. Слишком часто навещает с проверками станции переливания крови и пьет свежачок, когда никто не видит, урча и сдержанно повизгивая, это три. Кудряв, сутул, под кудрями, если поискать, можно обнаружить уплотнения, очень похожие на рожки. Порнушку Маркин одолжил, напугав Кошкина присловьем: сдают только свои.

Не сволочь ли?

Красавицы на обложках гладкие, потому что наполовину

силиконовые, как куклы, смотрят зазывно. Но мечта переспать с какой-нибудь такой кажется Кошкину столь несуразной, что он лишний раз под диван не лезет.

Ему нравится секретарь Маркина Галя, брюнетка с цыганской косой. У нее груди вполне натуральные, колышутся, как меха с вином, и усики под носом, – признак немалой страсти. Такой только шепни, такая бы не отказалась. Но попробуй, свяжись, сразу же и сдаст.

Накинув халат, Кошкин перебирается в комнату, берет с полки книгу, это Кафка из отдела цензуры. Издано в Швейцарии.

Он открывает случайную страницу и читает: «Ибо все мы как срубленные деревья зимой...»

Глупости какие-то? Правильно, что запретили.

Кошкин поглядывает на дверцу серванта, за которой стоит початая бутылка коньяка, из которой следовало бы прямо теперь отпить глоток для упорядочения мыслей и заесть холодной котлетой, его бы это успокоило. Но завтра рано на службу.

Он раскладывает тахту, натягивает на себя одеяло, думая о непокорном трубаче.

Когда опекун Кошкин забывается в непрочном сне, ему снится командарм Будённый.

Красные только что взяли Перекоп, и Будённый оттягивает Кошкина перед строем. За то, что за лошадьми не следил. Половина эскадрона со старыми подковами. А это задерживает наступление.

Кошкин держит под уздцы коня, ухмыляясь.

Командарм усищи распушает, да не знает тайну Кошкина. Кошкин в конармии – по заданию Всероссийского опекунского совета матросских и солдатских депутатов. Так что в любую минуту может Будённого заложить.

Ух, власть-то какая! Голова кругом!

Просыпается Игорь Иванович – пот на лбу. Заснешь тут!

День-деньской читает он донесения агентов.

А донесения – безделица и бред.

«Неизвестный, установленный впоследствии как сторож гаража Картузов И. Г., публично на городском рынке рассказывал анекдот про то, как Сталин с Лениным попали в рай, а продавцы капусты смеялись. Источник Барсик».

Он-то всё равно знает, чем дышит творческая интеллигенция, о чем говорит и поет под гитары на кухнях, какие анекдоты травит, по какой жизни тоскует. Ему и так всё известно!

Говорят – да уж совсем открыто, нахалы! – о вечном дефиците, о нехватке денег, песни поют Галича. Да не про далекие планеты, а про вертухаев и вышки. Смеются над бро-

вьями Леонида Ильича, тоскуют по заграничной жизни.

Будь на то воля Кошкина, он бы за кордон ездить вовсе запретил, – и о чем только начальство думает. Навезут ба-
рахла, друг перед другом хвастают.

Игорю-то Ивановичу пришлось даже сочинить документ для туристов – «Тезисы примерных впечатлений».

В документ им была заложена идея глубокая: начинать всегда за здравие и говорить правду, ибо ничто, кроме правды, не имеет подобной пропагандистской силы.

Живут на Западе сытно? Да. Во многих семьях не по одной, а по две машины? Да. Могут говорить то, что вздумается? Безусловно, у них законы разрешают. Но при этом нас боятся и ненавидят. Какие же это друзья?

Вся надежды на Маргариту Алексеевну Никонову – пианистку с глазами испуганной лани. И хотя обросла мужиками, как яхта ракушками, не пожалеет сил Кошкин, огнем и мечом расчистит дорогу к ее сердцу.

Егорову в общежитии тоже снится сон.

Будто он попал в состав Оскара Питерсона.

Но не в Америке, а в СССР.

Они репетировали в каком-то доме культуры перед концертом, а Егоров сидел в зале и слушал.

Одну вещь сыграли, другую, а потом Оскар отрывает

пальцы от рояля и говорит: напрасно Гиллеспи не поехал. А здесь, в дикой России, где трубача найдешь? И музыканты сидят суперкласса – Конни Кэй за барабанами, тромбонист Джей Джей Джонсон, Херб Эллис с гитарой, на басу – Рэй Браун. Целое созвездие.

Тут саксофонист Стэн Гетц тоже говорит: включили в программу «Billie's Bounce», это мы с Диззи классно дуэтом играли.

Говорят по-английски, но Никита как бы всё понимает и удивляется, потому что английский учил отвратительно.

А тут мырть на сцену, и – сходу по-английски: «Мистер Питерсон, давайте я попробую, я партию трубы наизусть знаю». Все переглядываются, а Стэн говорит: «Пусть этот русский играет, если может. После первых же тактов всё будет ясно».

Никита испугался. «Вы, – говорит, – только простите, господа, инструмент у меня педальный, тульский. Ре и ми на первой октаве не строят».

Рэй Браун ржет.

Мысли о трубаче не дают заснуть Кошкину.

Вот ведь дурь: спать охота, а никак!..

Когда-то мать советовала: не спится, засунь палец в рот и представь, что сосеешь нектар из вымени священной коровы.

Игорь Иванович засовывал, воображая корову на обертке

шоколада, который привозил отец из-за границы, со слета Санта-Клаусов. Вошло в привычку.

Так что, устроившись под одеялом, Кошкин непроизвольно и с невинным видом сосет указательный палец, думая о проклятой службе.

Нужно было сделать всего один звонок, чтобы операция по делу Егорова и Водкина завертелась.

И он теперь запускает эту машину без колебаний.

Так что, пока Никита с Владом мирно спят, из гаражей с разных концов города выезжают два козла с военными номерами. Оба они соединяются на проспекте и мчатся к общежитию музыкалки, пугая бездомных зверей.

Досматривает свой сон Егоров.

Дают отсчет и поехали.

Едва Питерсон вступление сыграл, только-только Никита со Стэном переглянулись, чтобы начать тему, нет, даже, кажется, сыграли пару тактов, как Конни Кэй застучал палочкой по барабану: стоп, стоп!..

Это не Кони Кэй, а кто-то в двери колотит, музыканты просыпаются, входят офицер и два солдата с оружием.

– Встать! Кто из вас Егоров и кто Водкин?

– Я Егоров, – говорит Никита, – а это Владислав Аркадь-

вич Водкин.

– Имею вам сообщить, товарищи Водкин и Егоров, что в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности вы призваны на действительную военную службу.

Слов много, а суть одна: забрали!

– Дайте хоть собраться, – говорит Никита.

Офицер ухмыляется.

– У меня приказ.

У Никиты дурные предчувствия. Их ведут под конвоем, как преступников. Егорова сажают в одну машину, Водкина в другую.

Пройдет много лет, и Егоров узнает, что под видом призыва в армию опекуны придумали изуверский способ ареста Влада.

Обыскали комнату, нашли невинные и довольно тусклые воспоминания Чуковской под матрасом, в машинописной копии на папиросной бумаге, которую Влад никогда Егорову не показывал. И осудили на пять лет.

Лидия Корнеевна никогда не нравилась своим опекунам, не то, что ее батюшка Корней Иванович.

В колонии за полярным кругом Водкин держался как мог.

По версии официальной, он умер от воспаления легких.

Но по рассказам тех, кто с ним сидел, изнасиловала его и от страха замучила пьяная солдатня. Самого жестокого и тупого, тюркского покроя.

Еще говорили, что, когда пришли в карцер за телом Влада, его там не обнаружили. На цементном полу валялись нижнее белье и дырявые ботинки со вложенными внутрь носками.

Очень похоже на правду.

Влад так всегда в общежитии делал: снимет туфли, а носочки вложит внутрь.

Однако никто над этой загадкой природы биться не стал. Списали Влада. Кинули в могилу кальсоны и ботинки.

На зэковском капище появился еще один столбик с номером.

Гуд бай, Америка!

Глава 8

Волынка

После встречи с Ираклием Севастийским шагал Никита Николаевич по шпалам легче прежнего, будто с него сняли усталость.

Свеж и сладок шаг путника, если, конечно, он перед этим не напился.

Описывая позже свои ощущения, Егоров споткнулся было о спортивные слова «второе дыхание», но сразу же их и вычеркнул, как трубач-профессионал, и заменил на «длинное дыхание».

Полотно пересекали речки, вроде Голубой Мути, о которой он сроду не слыхивал. А ведь говорят, каждая такая речушка может впадать в более значительную, та в следующую, и так до самой Волги-матери, по которой не раз плавал Егоров, когда играл для почтенной публики.

В каюты набивались бездельники со всей страны, мелкое и крупное ворье, карточные шулера, проститутки второй свежести, тайные рублевые миллионеры, вроде ювелиров или цеховиков, начальство, бежавшее от жен, изредка военные.

Днем диксиленд играл на корме фокстроты под визг те-

ток, спускавшихся в бассейн, как в расплавленное олово. Вечером – в ресторане, где все непрестанно пили и жрали, заказывая джазистам всякую лабуду времен танцплощадок и своей гонорейной юности. В лучшем случае, Италию. Но чаще – одесское или откровенно блатное. Эта ум-ца-ца в ушах навязла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.